

УРАЛЬСКИЙ

ISSN 0134-241X

Следопыт

7 '87

Главные рубрики журнала:

Люди подвига

Наука и техника

Страницы прозы и поэзии

Адреса романтики

Человек и природа

Путешествия и экспедиции

Музеи, коллекции

Краеведческая копилка

Приключения и фантастика



ТЕБЕ, РЕВОЛЮЦИЯ!

К 70-летию
ОКТЯБРЯ



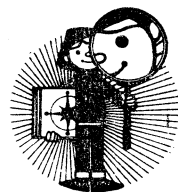
Надпись на одной из граней обелиска гласит: «Здесь похоронен уральский большевик, активный деятель Октябрьской социалистической революции Иван Михайлович Малышев.

Убит белогвардейцами на станции Тундуш в 1918 г., родился в 1889 году»

В. А. Киселев. ПАМЯТНИК «БОРЦАМ ЗА СВОБОДУ», 1920.
Златоуст

УРАЛЬСКИЙ

СЛЕДОПЫТ



7'87

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

В НОМЕРЕ:

- 2/ УШЕДШИЕ, ПОДЫМАЙТЕСЬ, ГОДА!
- 4/ О. Поскребышев
КО УКРАШЕНИЮ ЗЕМЛИ...
- 9/ А. Чечулин
БУДТО РОДИЛСЯ ВНОВЬ... Стихи
- 10/ Е. Ермолович
НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ИНТЕРВЬЮ
- 13/ ПРИЗ ЖУРНАЛА — ЮНЫМ ТАГИЛЬЧНАМ
- 14/ В. Балашов
«КОГДА В САДАХ ЛИЦЕЯ...»
- 18/ Т. Титова
ОСТАНОВКА. Рассказ
- 25/ Ю. Немиров
ДЕД ЩУКАРЬ И ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ
- 28/ Т. Власова, В. Стариков
ПРОСТО ЛИ СТАТЬ МАСТЕРОМ?
- 33/ В. Крапивин
ОСТРОВА И КАПИТАНЫ. Роман.
Книга первая «ХРОНОМЕТР». Продолжение
- 64/ Б. Рябинин
КОГДА ПЛАЧУТ КРОЛИКИ
- 66/ В. Юровских
ТРИ НОВЕЛЛЫ
- 68/ Б. Воронов
ТЕНИ В ОКЕАНЕ
- 71/ В. Постоев
ПРОШЕЛ ДИНОЗАВР...
- 72/ П. Максимов
БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ — ВСЕ ПО ПЛЕЧУ. ЖУРАВЛИ.
ПОЛЕ
- 73/ М. Дейч
ОДОЛЕЙ ОКЕАНА ДАЛЬНОСТЬ...
- 74/ А. Городницкий
СТИХИ
- 76/ В. Миронов
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ГОДА. Июль. Август

На 1-й стр. обложки рисунок Любови Ткач «Камчатское лето» (г. Петропавловск-Камчатский).

Ушедшие, подымайтесь, года!



Товарищ Ленин,
работа адская
будет сделана
и делается уже.

1917 — 1987

ЗА НАМИ РЕВОЛЮЦИЯ, ОКТЯБРЬ,
ЗА НАМИ — ГРОМ СЕМНАДЦАТОГО ГОДА...

Минул год со дня освобождения столицы Красного Урала — Екатеринбурга. Срок небольшой, незаметный при мирном течении жизни, но значительный и долгий в бурную эпоху гражданской войны.

Недаром революция — вихрь!

Много, очень много сделано за год на Советском Урале. Урал по своим природным особенностям, по своему историческому прошлому и бытовым условиям не любит шумихи и внешнего блеска. Он суров и скромно. Вот почему постороннему глазу может показаться, что Урал отстаёт от жизни. Присматриваясь внимательно, убеждаешься, что некоторая медлительность темпа окупается сосредоточенностью и серьезным подходом к делу. А это является самым ценным.

Всеуральский субботник, трудовой месяц, победы на транспортном фронте, постройка Камского и других мостов, налаживание Пермской дороги и открытие Казань-Екатеринбургской дороги — все это лучшие ростки коммунаров. Несмотря на все трудности, на Урале создается основная хозяйственная база республики.

«Серп и молот», 1920

...КТО ХОЗЯИН — ТОТ И РАБОТНИК,
А ТОМУ, КТО ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАД,
ДНЕМ — СУББОТНИК —
И НОЧЬЮ — СУББОТНИК,
ВСЮ НЕДЕЛЮ — СУББОТЫ ПОДРЯД.
САМИ ГЛЯНЬТЕ, ЧТО ДОЛЫ, ЧТО ГОРЫ,
ГДЕ НИ СТУПИШЬ — ТО ВАЛ, ТО ОКОП...
ВРОДЕ ГОРОД НАШ ВО ВСЕ НЕ ГОРОД,
А НАСКВОЗЬ — МИРОВОЙ ПЕРЕКОПИ!

Месяцев восемь назад в одной денкинской газете была помещена перепечатка из немецкого журнала, называлась эта заметка «Красный бред», и суть ее сводилась к следующему. Население Советской России совершенно разучилось работать. Советское правительство, тщетно пытаясь его оживить, время от времени пропускает через него гальванические токи субботников и проводит их, чуть не действуя красным террором. От субботников — этих «судорог труда» — сотрясается на несколько часов агонизирующее от голода население «совдепии» — и вновь засыпает голодным и мертвым сном.

Автор этой статьи никогда не присутствовал на коммунистических субботниках.

...Первый субботник в освобожденном Екатеринбурге был организован в начале сентября 1919 года. Часов около семи вечера, в дождь и грязь 200 коммунистов по предложению партийного комитета отправился на ст. Екатеринбург разгружать железный мусор — остатки

сожженных Колчаком вагонов. Почти одновременно устроили субботник мотовилихинские рабочие в Перми, некоторое время спустя — Уфа и Челябинск.

...Блестящий успех всенародного Екатеринбургского субботника, который прошел 7 марта, объясняется, главным образом, ярким революционно-трудовым настроением масс. В нем приняло участие около 20 тысяч человек (в 75-тысячном Екатеринбурге). Если исключить детей, стариков, около 7 000 больных тифом, обслуживающий персонал — очевидным становится, что в этот субботник работали все трудоспособные люди.

В Перми работало около 12 000 человек. В Нижнем Уфале, где крестный ход ранее собирал по 300—400 человек, работало 1159 человек...

«Серп и молот», 1920

СТРАНА СОВЕТОВ,
ЧИСТЬ СЕБЯ —
НУТРО И ТЕЛО,
ЧТОБ, ЧИСТОТОЙ
СВОЕЙ БЛЕСЯ,
РЕСПУБЛИКА ГЛЯДЕЛА.

Народ пробудился к сознательной жизни, на все он требует ясного и четкого ответа. И вот какие бывают печальные опыты с агитаторами. Красноармеец жаждет услышать разъяснение всего того, что касается устройства его жизни на новых коммунистических началах, а его пичкают фаршем о неминуемости мировой революции, о золотопогонниках, о близком конце Колчака и Деникина.

Слушатель-красноармеец не хуже знает, что мировая революция будет, потому что он сам вынес на себе гнет генерала, помещика, урядника, фабриканта; знает, что рабочий люд сбросит иго капитала, потому что невероятно, чтобы люди работали до бесконечности на паразитов. Близко знаком он и с «их высокоблагородными», знает — ждет их пуля или петля.

Но об этом ему долбит, словно Америку открывают...

* * *

...Посмотрите, что творится в разных хозяйственных учреждениях. Там толпами ходят из комнаты в комнату толкачи-ходатаи с бумажками-требованиями, которые испещрены часто астрономически колоссальными цифрами. «Куда вам такое количество масел, ведь оно и по всему Уралу вряд ли нужно?» — спросят такого толкача. А он отвечает: «Помилуйте, если вы этого не отпустите, тысячи рабочих будут без работы, важное предприятие остановится. А как, если ЧК начнет в этом разбираться?..» И на многих это действует.

Конечно, при таком методе снабжения дела в промышленности не налаживаются, а разлаживаются.

Куда больше толку было бы, если бы этих толкачей поставили за станок...

* * *

Советский аппарат в настоящем его виде — это буржуазное царство... Это — машина, едва ли не половина энергии которой уходит на трение частей.

Во всех наших учреждениях в большом ходу та «интеллигентская дребедень», о которой писал Ленин. «Составлен план», «Пускаем в ход силы», «Улучшение несомненно» — излюбленный мотив многих советских учреждений.

Меньше широковещательных слов, меньше планов, больше дела — вот что должно быть лозунгом учреждений, претендующих на звание правительственных органов рабоче-крестьянского государства.

«Серп и молот», 1920

ВСЕ НА ПЛЕЧИ ПОДНЯЛИ И В РАБОТУ ВЗЯЛИ...

Предшествующий период хозяйственного строительства, период «военного коммунизма», воспитал целый слой рабочих администраторов. Отличительной особенностью этого слоя является их умение командовать. Совсем иного типа работника требует новая экономическая политика, с ее хозяйственным расчетом, острым недостатком оборотных капиталов, ежедневно меняющейся конъюнктурой рынка. Управлять заводом, руководить хозяйственной организацией — задача исключительно трудная. Таких хозяйственников эпоха «военного коммунизма» нам не оставила.

«Экономический путь», 1922

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СОЗДАТЬ НА УРАЛЕ ЧЕТЫРЕ КРУПНЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДА-ГИГАНТА, ПО ТИПУ АМЕРИКАНСКИХ ЗАВОДОВ, В РАЙОНАХ КРУПНЫХ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ПРИЧЕМ ОБЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭТИХ ЗАВОДОВ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕХ УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ ДОВОЕННОГО ВРЕМЕНИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА.

За последнее время на Урале налаживается ряд новых производств. В первую очередь следует отметить производство столь необходимых изделий, как дымогарные и паровые трубы и проволока для стальных канатов. Производство труб ведется на Шайтанском заводе, где после окончания ряда испытаний будет приступлено к массовой их выработке. Для характеристики развития производства следует отметить, что в мае выработано 88 пудов, а в июне — уже 949 пудов!

Новым производством явится введение на заводах Южного Урала выработки стальной проволоки. Исследованием, химическим и металлографическим, шведской проволоки обнаружено, что она очень близка с нашей стальной сталью — и такую сталь решено готовить...

В настоящее время на Южном Урале работает инженер, занимающийся изготовлением волоочильных досок. Будем иметь у себя и это новое производство.

* * *

У одного из отделов губисполкома запросили, сколько потребуется семенного хлеба для губернии. И на это отделничко сумняшеся ответил, что потребность эта выразится в сумме 14 миллионов пудов. А вся годовая продовольственная разверстка по губернии выражается... в 10 миллионов пудов. Ввиду абсурдности этих сведений, исходя из чисто логического вывода, пришлось установить для губернии норму семян в 1 миллион пудов...

В чем причина этой статистической чехарды? Лишь в том, что до сих пор не произведен точный учет — в

каждом губисполкоме, заводууправлении, райлескоме и вообще в каждой хозяйственной организации. Дальше это терпимо быть не может.

Нужно принять решительные меры к осуществлению наказа тов. Ленина «о точном учете материальных ресурсов».

«Серп и молот», 1920

НАША ЖИЗНЬ — В ГРЯДУЩЕЕ РВАТЬСЯ.

Свердловск — бывший уездный город — превратился в центр Уральской области. Рост города требует ряда мероприятий, как по благоустройству его, так и по жилищному строительству. Городская электростанция, этот музей древностей, дышит на ладан, город лишен водопровода, канализации, имеет лишь одно благоустроенное театральное здание, нет ни одного крытого рынка...

Лишь с 1923 года явилась возможность уделить городскому хозяйству некоторую долю средств. Строится новая электрическая станция на торфе, с начальной мощностью в 3000 квт. Станция будет пущена в январе 1926 года и удовлетворит нужды населения и хозяйств в радиусе на 20 верст.

«Хозяйство Урала», 1925

...ПОДУМАЮТ, ЧТО МЫ-ДЕ —

ВЫСОТА,
НЕ ЛЮДИ, А ЛЕВИАФАНЫ,
ГЕРОИ, ПОЛУБОГИ, КРАСОТА!..

Уральские заводы иногда в шутку называют «самоварами». Если эта шутка сколько-нибудь и соответствует действительности, то Верх-Исетский завод, бывшая «Красная кровля», — не самовар, а самовариче...

В 1920 и 1921 годах завод стоял. Но 1922 год призвал на повторную службу нашего уральского старика. Явился на службу, но уже не к хозяевам-капиталистам, а к самим себе, к рабочему государству и старики-рабочие. Их на заводе много.

Самый старый по производственному стажу — Механонин Алексей Михеевич. Он работает разметчиком в механическом цехе. Механонин не уходил с завода даже тогда, когда заводские трубы не дымилась и машины опутывались тенетами. С начала революции он целый год был цеховым комиссаром, без подписи которого ничего не мог ни получить, ни выдать.

Вот рабочий Ермаков. Он в 1918—1919 годах, при отступлении белых из Екатеринбурга, умудрился сохранить наиболее важные части электрической машины и моторов. В 1921-м с красноармейцами, без единого квалифицированного рабочего, перевез с медного рудника генераторы и установил их на заводе для освещения города.

Директор завода тов. Давыдов Н. М. — старый рабочий. До революции был машинистом железнодорожного цеха и подпольщиком-революционером-большевиком.

Машины так же стары, как и сам завод. Поэтому он возрождался почти исключительно на мускульной силе.

Для неопытного человека вся двухтысячная армия рабочих может показаться массой, как расплавленный металл. В большинстве это крепкие коренастые люди. Заводская сажа, которой пропитана вся их кожа, жилистые могучие руки, крепкая уверенная поступь — все это говорит за то, что они точно выросли в завод и вне его себя не мыслят.

«Округ», 1926

Подборка сделана по страницам старых уральских журналов. Использованы стихи Владимира Маяковского, Бориса Ручьева и Бориса Корнилова.

Трибуна Писателя

Олег ПОСКРЕБЫШЕВ

Рисунки Олега Шапкина



1.

В деревне Болгуры Воткинского района (колхоз имени Фрунзе) я долго любовался большим прудом, придирчиво оглядел насыпную плотину, познакомился со старым рыбаком Фокиным, даже уловом его поинтересовался, а затем стал спускаться по безымянной речушке вниз. Но не прошел и двухсот метров — гляжу: еще одна плотина делается. «Ну, молодец колхоз!» — думаю.

Подхожу к плотине: на ней человек, немолодой уже. Опрокинул тачку с глиной — пот с небритого лица рукавом утирает.

— Здравствуйте!

— Здравствуешь.

— А где народ-то? — спрашиваю. — Обедать, что ль, все ушли?

— Какой народ?

— Ну... строители.

— Я и есть строитель.

— Так не один же, наверно?

— Старуха мне помогает. Ну, она недавно. А так — один.

— Эй, не смейся! — попросил я и даже рукой махнул отрицательно: показалось, что разыгрывает он меня. Уж очень все не походило на правду. Посудите сами: плотиница — вон какая махина! Человек, в сравнении с нею, как муравей. Стоит низенький, по плечо мне, на разбитых сапожках глина налипла, остатки волос на голове торчат туда-сюда, жиденькими прядками слиплись, и сутуловат мужичок, и в плечах неширок, и возрастом — за шестьдесят. Не богатырь, нет!

Но заглянул ему в глаза — ни улыбки в них, ни смешиночки малой, а деловитость и дума. Разговаривает по-серьезному, без всякого подвоха.

— Да ты что, Петр Григорьевич (так назвался он, а фамилия — Гусев), неужто все это в одиночку наворочал?! — изумился я. — Скажи, какова длина плотины?

— А хоть рулетку возьми. В длину намеряешь тридцать метров, в ширину четыре. Высота же, сам видишь, разная: где поменьше, а в самом русле до двух с половиной доходит.

— Но зачем, зачем тебе эта плотина?!

— Как «зачем»? Пруд будет.

— Так вон же колхозный пруд. Рядышком!

— Свой хочу иметь. Видишь, — Петр Григорьевич кивнул в сторону ближнего огорода, — это моя усадьба. И пруд будет как раз впритык. Мой.

— Ну, построишь ты пруд и что с ним делать будешь?

— А перво-наперво поднимусь на Пупыщ, — он показал на высоченную гору, — и сверху порадуюсь, каково красиво получилось. Авось и мой прудик послужит ко украшению земли. Потом — рыбу разводить начну. Карпа.

— Что, огородишь пруд?

— Зачем? — он недоуменно посмотрел на меня.

И чем дольше беседовали мы, тем удивительнее было видеть, как по-молодому взблескивают его глаза,

КО УКРАШЕНИЮ

ЗЕМЛИ...

и слышать, что к одной его мечте уже пристраивается другая, третья...

— ...Рыба — одно. Я еще хочу циркулярную пилу поставить. Пусть вода по старинке крутит-работает. Я же в жизни больше по дереву старался. Хотя, конечно, и железо не обошел.

— Петр Григорьич, давно ль ты плотинкой занялся?

— А не столь давно. Три года. Да и как сказать: «три». Другую работу за меня тоже никто не делал: в колхозе роблю, по хозяйству тоже что-то надо — и огород, и сено... Плотинка-то выростала в выходные, в праздники да после работы. Потихоньку поднимал. В охотку. Все, как надумалось, планирую закончить годика за два.

— Сейчас-то сколько тебе?

— Немного. Шестьдесят седьмой только пошел, — с такой убежденностью были сказаны эти слова, что мне поверилось: это немного.

Потом разговор снова пошел о плотине, и снова я вслух удивлялся тому, как можно было вручную одному проделать такую работу.

— Ты что — «вручную»? У меня же техника. Без техники разве бы справиться.

И Петр Григорьевич показал свою «технику».

Оказывается, помимо строительства самой плотины задача состояла еще в том, чтобы очистить и углубить дно будущего пруда. Обе эти задачи он стал решать сразу. Смастерил из длинной жерди специальную «карусель», на одном конце которой подвешена площадка для груза, на другом — тяжелый противовес. Много смекалки потребовала центральная часть коромысла: в дело, помимо вертикального стержня, пошли списанные опорные подшипники... словом, и тут мужик вышел достойно из положения. В результате получился «экскаватор» с радиусом захвата около шести метров от основания.

— ...В одиночку работал. Встану на площадку, толкну — и уже на месте, откуда землю брать. Накидаю лопаткой с центнер — бегу к другому концу жерди, к противовесу, и поворот делаю. Не тяжело. Подведу груз куда надо, дерну за этот вон крючок — площадка и опрокинулась. Автоматика! Опять качу за новой порцией. Если же надо было тяжелые грузы поднимать (в плотине есть бетонные обломки до тонны весом), тогда уж кумекаешь: где ворот приспособишь, где рычаги... А вручную как? Вручную бы нипочем... — обо всем этом мужичок рассказывал чуть шепелявя («Зубы совсем кончились, да вставить их-за плотины некогда»), рассказывал с такой радостной удовлетворенностью, что казалось, будто он на своем строительстве, достигнув и «механизации», и даже «автоматики», только и делал, что кнопки нажимал. А о том, что за одну карусельную ходку надо пудиков шесть земли накидать, причем вывозившись по уши в логотинной грязи, и затем эту землю утрамбовать в плотину, что таких ходок пришлось сделать не одну, не две, а сотни, — об этом он как-то и не упомянул.

Кроме того, потребовалось подготовить каркас самого тела плотины: вбить кувалдой по фронтальной линии десятки толстых кольев и переплести их прутьями; уло-

жить на разных высотах две длинные металлические трубы (нашел бросовые) для регулировки в пруду уровня воды; вдобавок залить бетонный лоток, по которому вода пойдет на водяное колесо; а еще — возить и возить глину на тачке (целая горбушка горы срезана поблизости) — про все это не было упомянуто. Три года прошло с начала работы, многое осталось уже позади, к моему приходу плотина была почти готова.

— Денька через три думаю перекрывать, — сказал Петр Григорьевич.

2.

Месяца через полтора снова оказался я в Болгурах, и скорей, скорей к Гусеву, к его пруду.

Еще издали увидел на плотине две копошащиеся фигурки. Но где пруд, которому давно пора быть? Не видно серебряной чаши, которая так давно намечталась Петру Григорьевичу и уже мне представлялась не однажды при воспоминании об интересном знакомстве.

В чем дело?

Встретил меня Петр Григорьевич как старого знакомого.

— Это моя хозяйка, — отрекомендовал он плотную, молоджавую женщину, вставшую рядом с ним. — Я Григорьич, она Григорьевна. Так и зови. На годок помоложе меня будет. Да и вообще мы с ней молодые. Год всего, как сошлись.

Григорьевна, Александра Григорьевна, на меня смотрела прямо и хорошо, согласно улыбалась словам мужа. Седина не старила, а словно освещала ее открытое лицо.

— Что с прудом-то? — встревоженно спросил я, видя, что работа на плотине продолжается, но находится примерно на том же уровне доделки, хотя сама плотина стала вся какая-то другая.

— Эх, милоч, унесло наш прудик, — вздохнул мужик. — Вот когда ливень-то всю ночь без роздыху хлестал...

— Постой, Григорьевна, сам обскажу. Помнишь, гроза с ливнем страшная разгулялась? Ох, болело у меня сердце: не кончится добром, думаю. Утром прибегаем сюда — тю-тю!

— Какой прудок уже накопился было, радовались мы, — снова вклинула словечко Григорьевна.

— Да, хорош пруд, — поддержал жену Петр Григорьевич. — Во-о-н до тех кустиков зеркало разлилось. А тут в ямке, уже рыбка стаями загуляла: из верхнего пруда пришла. Даже ондатра, веришь ли, появилась. Как ни придем, она — бульк и спрячется... Все унесло.

— Беда! — огорчаюсь я.

— Не говори! — подхватывает Григорьевна. — У меня слезыньки так и покатались. Столько силы вбухано, столько радости обещалось. Придем — налюбоваться не можем. Сам же все сделал. Сам.

— А я привык так жить: нашел — не радуйся, по-

терял — не плачь, что нарушилось — снова делай. Вот и делаем.

— Это он теперь бодриться стал, а первые-то дни рук поднять не мог, как мертвый ходил. Ослабел.

— Было маленько, — признается Петр Григорьевич. — Обидно. Да ведь кто же знал, что такая напасть с неба свалится. Сколько себя помню, всего дважды у нас железную дорогу размывало. И во второй раз — именно этим ливнем. Несколько дней поезда не ходили. Однако плотнику нашу лобовая вода не взяла, не смогла столкнуть, значит, — с гордостью за работу добавляет мужик, — ее сверху расхлестало в одном месте, а потом и пошло кусками рвать. Сила-то какая! В полтоны камень вон куда укатило! Одна моя оплошка: не подумал, что может сверху дождем продолбить... Ну, погоревали да снова взялись. Ты погляди-ка, что теперь делаем.

Я поглядел. Весь тыльный край плотины уже укреплен кольями, переплетенными где проволокой, где ивняком. Вдобавок мне показалось, что плотина стала еще шире. Об этом и спросил.

— На целый метр, — с гордостью ответил Петр Григорьевич, — на целый метр добавили. Вдвоем у нас поударному дело шло. Закончим засыпку — слой глины сверху постелем да утрамбуем хорошенько, чтоб любой ливень, как с масла, скатывался, крошки не уколупнул. А по краям черемух насадим. У черемухи и корни хватки, и цвести она молодец. Еще думаю — опасные места забетонировать следует. Тонны две цемента купим со старухой на пенсию, не жалко.

— Это сейчас все хорошо смотрится, скоро снова прудить будем, — говорит Григорьевна. — А что было, что было... — чувствовалось, что мужнее дело, несмотря на короткую совместную жизнь, она приняла душой и, сколько могла, вложила в него свою долю. Да и судьба у нее оказалась такая, что не испугаешь работой: пять лет трактористкой была, девятнадцать — на заводском кране. «Я по горячему стажу на пенсию-то пошла», — обомлела Григорьевна михоходом.

— Ну, уж если теперь прорвет — просто плюнуть и отступиться!

Косовато взглянул на Григорьевну муж. Видно, не понравились ему ее последние слова. Однако смолчал.

3.

Потом мы шли от плотины огородам к их дому. На приусадебном лужке — небольшой стог сена. Запахом медунницы от него хорошо несло. Тут же бычок на привязи отавой лакомится.

— А корову держите?

— Нет, — вздохнул Петр Григорьевич. — Я же говорю: с нею мы только годок. После смерти жены поручил корову... Ты что спросил-то?

— А вот что... — и рассказал я, что пришлось увидеть в Болгурах в прошлый свой приезд.

Из лесу я возвращался. С крутого лесистого холма хотелось посмотреть на деревню, на поля, воздухом верховым подышать. Тут же такие холмы, что снизу глянешь — шапка долой, сверху посмотришь — птицей себе покажешься. Не зря по зимам в Болгуры лыжников да саночников тянет.

Так вот, спускаюсь вниз и вижу: по полевой дороге пастухи колхозное стадо гонят в деревню, переулочек уже недалеко. Ну, гонят и гонят, наверное, на дневную дойку — так должно быть по времени. Стою себе в сторонке: что, я корову не видел? Но приглядевшись повнимательней — нет, чтобы так гоняли коров, не приходилось видеть. Вплотную за стадом, впритирку к нему, гарцуют на добрых лошадях четыре пастуха. Люто свистят кнуты, щелканье их — вроде выстрелов, а уж если корова под-

вернется, то кнут так и измерит ее от хвоста до рогов. Вот двое верховых схватились и с жестокими лицами, с какими-то дикими воплями и матерщиной поскакали по дороге, рассекая стадо ударами направо-налево. А дорога-то под уклон, косогором, да холмиста, да по сторонам ее то скос, то ложбинка. Корова от страха и боли шарахнется, толкнет других, и несет их, бедных, вниз: сотрясается тело, торбой мотается вымя, клешнями расползаются ноги. Внизу болотина, коровы — в нее, всадник настигнет увязших и уж хлещет-хлещет... А когда к переулочку подогнали пастухи стадо, тут вовсе столпотворенье началось. Те двое, что проскакали вперед, остановились по обе стороны и ну вбивать коров кнутами в горловину, другие двое сади жмут все нахрапистей, все злее и суматошней. И ведь не скажут ничего животные. Не пожалуется вон та, охромевшая, где она получила увечье; не восплачет вслух другая, откуда у нее на боку рваная ссадина (это ее в месиве переулочка к суковатой изгороди притиснули). Ничего не расскажут коровы, только раз от разу станут меньше приносить молока.

В чем же их вина? Или их бьют как раз за добро?! Ведь чем больше у коровы молока, тем неувертливей она, тем верней попадет под безжалостный кнут.

И потом — откуда такая жестокость? Даже не верится, что эти ухари на лошадях — доподлинные крестьянские парни, и их должна была коснуться, в сердце осесть исконная, веками воспитываемая жалость к скотине, прежде всего — к корове, кормилице и поилнице каждой семьи. В чем дело?

С этим вопросом, окончив рассказ, я и обратился к Петру Григорьевичу.

— Легко живем, — помрачнел он. — А что легко далось, то недорого. На лошадях, вишь, пастухи. Молодые. Ну-ка, вспомним, когда это в наших местах на лошадях пастушили. Да никогда. Лошадка в другом месте нужна была. Бывало, пастух, уж в возрасте человек, вместе со стадом все версты перемеряет. Так он не то что головой — ногами своими понимает стадо и впробеге его гонять не будет. Сидит себе, найдешь, и коровкам хорошо: нагуливают тело, копят молоко.

Нынче же этот, молодой, сел верхом — сверху и глядит на все. Легко ему. Бездумно. Беспоятно. Потешиться охота, молодую, застоялую кровь разогнать. А коли в руках кнут да близко безответная животинка шевелится, так почему и не хлестнуть. Во вкус входит. Тупеет, звереет. Мы бычка вначале отпускали в стадо: прибежит вечером домой — язык набок, как у собаки...

А еще часто бывает у молодых, что точки своей никак не найдут, — Петр Григорьевич долго ищет слова, стараясь понятнее растолковать свою мысль. — Понимаешь, каждому нужна точка. По себе. Этот на тракторе ездит, а ему шоферить охота; тот шофер, но тоже недоволен — чего-то иного хочется... А третий вроде и нашел свою точку, да не поддается она: работать же надо, силенку вложить. Само собой ничего не делается, все будет шиворот-навыворот, даже самое дорогое. Вот он и готов всех укусить да обвинивать.

Все мы пастухи, по по-доброму ли свое пасем-бережем?! Болит у меня душа, — вздыхает мужик, — вприкинь об этом думаю. Родной сын крепко проступился, наказание отбыл и сейчас еще мечется: свою точку ищет. И разве только о молодых речь?! Вообще многовато стало шибко нервных, да неровных, да злобствующих. Беседовать разучаемся. Ты к иному с приветом, а он тебя так и готов, кажись, хлестануть кнутом...

Слушаю Петра Григорьевича, слежу за его мыслью и поневоле соглашаюсь. Вспоминаются собственные наблюдения и примеры из этого ряда. Сколько их — иногда крупных, иногда махоньких, вроде заноз.



...Стою на пермском вокзале. Вижу: женщина подошла к человеку в форме железнодорожника, стоявшему у почтово-багажного вагона.

— Скажите, пожалуйста, этот поезд идет на Устинов?

— А я кто тебе — справочное бюро, что ли? Поди в справочное и спрашивай, — отвечает он.

Подумать только, даже на вопрос с волшебным словом «пожалуйста» человек ответил так, словно ему смертную обиду нанесли! Голос как скрежет по стеклу, в глазах негодование (видишь ли, потревожили!), сменившееся злобно-радостным удовлетворением («Получила!»).

...Разговор на улице двух встретившихся женщин:

— Будьте добры, скажите: где вы купили рыбу?

— Где купила, там уже нету!

— Ну что вы таким голосом? Я просто хотела узнать...

— Проходи. Все просто узнать хотят. Пока дойду, отвечая, рыба протухнет...

Невыносимо видеть, что подобный уровень общения между людьми, словно злокачественная опухоль, распространился широко, разъедавая даже границы узаконенно-официальных отношений в различных сферах нашей коллективной жизни. Разве не напоминают, например, крик отчаяния настенные призывы вроде «Покупатель и продавец, будьте взаимно вежливы!», разве не должно быть стыдно нам, что довели себя, свой человеческий уровень до необходимости вывешивания таких призывов?! Ведь если на миг поверить, что именно от них будет польза, то понадобилось бы тотчас оттиснуть еще десятки и десятки вариаций: «Парикмахер и клиент, будьте взаимно вежливы!», «Пассажир и проводник, будьте взаимно...», «Начальник и подчиненный, будьте...», «Сослуживцы...», «Соседи по лестничной площадке...», «Отцы и дети...»

А рядом с откровенным, простите, горлохватством, с явным желанием хлестнуть как бичом, столкнуться с до роги подчас стоит самая-самая причина-беда — нежелание всмотреться в чужие глаза, в чужую судьбу и хоть чуть-чуть попытаться разобраться в ней.

Запомнилась сценка в поезде.

Беседуют между собой женщина и пожилой мужчина. Она села недавно, а он едет уже порядочно, только что плотно покушал, все аккуратно уложил, и ему хочется разговора, то есть беседа ведет именно он, а женщина лишь отвечает на вопросы. Через короткое время выясняется, что едет она до станции Кез, а оттуда — автобусом — в Дебесы. В Дебесах год назад умерла се-

стра, у которой осталось пятеро детей. Едет она на годины.

— ...Невеселая что-то жизнь, — вдруг произносит женщина.

Пообедавший старичок весь так и вскидывается:

— Как так — «невеселая»? Кур продают, молоко и яйца без перебою, на себя надеть есть что... Сестрицу поминать станете — может, и рюмочку нальют, хотя это нынче не приветствуется. А вы говорите — жизнь невеселая! — поучающе, даже строгонько заканчивает он.

И было бы, наверно, страшно жить, когда рядом с подобными штрихами жесткости и глухого непонимания перестали бы в людях сиять главные — человеческие — свойства.

Захожу в мастерскую к художнику Евгению Русанову. Тут же оказался сосед по мансарде художник Федор Матанцев. Сидим. Беседуем. Пьем кофе.

— А у нас радость большая, — почти в один голос заявляют они.

Я вопросительно гляжу то на одного, то на другого.

— Валерия Третьяковка взяла!

Мы разговариваем о работе Валерия Кононова (это портрет ветерана труда и Великой Отечественной войны Н. Г. Надсонова), и я молча радуюсь — даже не столько творческой удаче художника, сколько услышанному: «У нас радость большая... У нас!»

Как должен быть счастлив художник, писатель, всякий творческий человек, ощущая такое отношение товарищей!

Всегда ли оно есть, такое-то?!

Вдруг вспомнилось: прошлой зимой в Москве зашел в Манеж на художественную выставку. Захотелось посмотреть на лучшее, что сделали художники России, а особенно на своих: как они смотрятся среди других?

Среди множества людей неожиданно вижу Валерия Кононова. Перед ним как раз его собственное полотно — упомянутый портрет Н. Г. Надсонова.

Я не тороплюсь показаться художнику на глаза, наблюдаю за ним издали. Вижу, вроде бы мрачноват. Стоит, взгляд исподлобья, бороду седую тербит. Отошел. Долго смотрел на портрет с новой позиции. Отвернулся. Другие работы в зале осмотрел — похоже, не в первый раз, — снова возвратился к своей, будто за веревочку привязанный.

— Добрый вечер, Валерий Борисыч!

Оглянулся. Удивился. Руку протянул.

— Что делаете? — вопрос прозвучал донельзя банально: ну, что можно делать на художественной выставке?! Зато ответ я услышал очень запомнившийся.

— Сомневаюсь.

Вот так вот! Человек сделал дело. И, видимо, неплохо сделал, коли на такую выставку попал. Мог бы уже и вздохнуть полегче, голову вскинуть повыше: мол, знайте наших! А он не шумит, не якает, внимания к себе не требует, наоборот: «Сомневаюсь!»

4.

Может показаться, далековато моя мысль боковой отростель пустила: от Гусева, который лопатой орудует, грунт копает, до художника, который на холст грунтовку кладет, у которого и инструмент, и задачи совсем иные.

Но так ли?

С первой встречи с Петром Григорьевичем показалось мне: художник он. Художник в том смысле, что не умеет жить без выдумки, без мечты, что всю жизнь созиданию добра и красоты молится его сердце.

В мастерскую зашли, у себя во дворе он соорудил ее. Правда, еще не закончена.

— Никак до ума не могу довести, — извинился хозяин, — пруд одолел: каждую свободную минуту себе забирал.

Но к чему ни притронулся я в мастерской руками, глазами, все о нем по-доброму говорило. Косяки ли взять, рамы, верстаки, лестницу на второй этаж — все так и хотелось погладить, ибо сделано мастерски, согрето любовью к работе.

А потом вот еще что.

Вижу точило: диск его вроде маленького жернова — настолько велик.

— Где такой купил? — спрашиваю.

— Зачем покупать? — смеется. — На свалке нашел возле мастерских.

Точило сделано очень хитроумно, с использованием для вращения велосипедной педали.

— Увидел разломанный и выброшенный велосипед — жалко стало, что такое добро зря изоржавевает. Вот и пришло на ум приспособить... У педали-то подшипники. Гляди, как легко...

На второй этаж ведет ажурная лестница с перильцами и ступенями, покрытыми листовым сплавом вроде бронзы; по кромке каждой ступени идет изящный угольник.

— Я эти металлические пластины тоже на свалке подобрал. По Кварсинскому тракту. А на угольники, как думаешь, что пошло?

— Полозья санок! — догадываюсь я, потому что самому приходилось использовать их как угольники.

— Точно! — обрадовался он моей догадке. — У нас зимой на горах катальщики много санок ломают. Я и подобрал. Пригодились.

Не мной выкинута на свалку доброе точило, кто-то другой сломал велосипед и металл на свалку выбросил; даже словно и не упрекал никого Петр Григорьевич, а все равно упрек ощущался — упрек в бесхозяйственности, в неумении дорожить тем, что создано человеческими руками. Взял мужик и пустил все в дело, словно поэт, из старых, стершихся слов создавший новое произведение и заставивший эти слова зазвучать по-новому.

Вышли из мастерской, и Григорьевна потащила меня на огород.

— Нет уж, не отказывайся, на мое рукоделье тоже погляди.

Провела между всех грядок (землю рвет огородная благодать), зашли в парник: в нем огуречная ботва до потолочной пленки по колышкам добралась, будто рыбацкие сети поставлены; огурцы, как тяжелые рыбы, вниз их оттягивают.

— На-ко, угостись да семью угости, — не мореными, не лежалыми, — сколько ни отбивался, насовала Григорьевна огурцов в мою дорожную сумку.

Потом еще долго сидели на крылечке, разговаривали о жите-бытье. Мое внимание — я чувствовал — радовало хозяев. Беседа шла легко, без натуги, разрастаясь вроде той огуречной ботвы.

— Принеси-ка, — непонятно для меня вдруг попросил Петр Григорьевич хозяйку. Она же только спросила: — Который?

— Новый принеси.

Все стало ясно мне лишь тогда, когда Григорьевна вынесла огромный баян и уважительно подала его мужу.

— Два их у меня, — объяснил он. — Один старый, Кировский, и этот... шестьсот рублей в позапрошлом годе отдал... накопил помаленьку.

До сих пор видится: сидит на ступеньке крыльца сильно немолодой человек с недельной щетиной на лице, в обмыганном пиджачишке и мокрых носках (сапоги сбросил, чтобы отдохнули ноги). Маленький, серенький, как старый воробей, наработавшийся за долгий день и долгую жизнь, притихнув, сидит он. На коленях — черный, блестящий инструмент, полировка которого создана, кажется, специально для того, чтобы отражать занавеси, люстры, блеск концертного зала, а клавиши — чтобы воспринимать виртуозные прикосновения легких, изящных, чутких пальцев, но уж никак не этих — темных, задубелых, еще час назад сжимавших черень лопаты, вдобавок — покалеченных при давней травме.

Но вот зазвучала музыка — и даже озноб прошел у меня по спине: не веселую «Коробушку» или удалые частушки, не «Барыню» или что-нибудь в этом роде выбрал для начала Петр Григорьевич — старинный вальс «Над волнами» поплыл медленно-медленно, истаивая в деревенском воздухе, добираясь до плотины, щемя сердце печалью давней любви, воспоминаниями ушедшей молодости и всплесками летучей мечты.

И пропало несоответствие между человеком и инструментом. Они понимали друг друга, они были взаимно нужны. Баян, такой яркий и блестящий, уже не бросался в глаза, его заслонил человек. Помолодело и штрихами одухотворенности прорисовалось лицо; словно две капли от будущего пруда, налились голубизною глаза...

А звуки плыли и плыли, рассказывая о человеке, о его неуспокоенности, неумении и нежелании жить без напора, самотеком. «Я в самодеятельность до последних лет ходил, два баяна держу — как без песни?...», «А прорвет пруд — в третий раз примусь. Кто меня остановит? Я же ни копейки чужой не потратил. Мой пруд! Не для корысти — мой, а сказать хочу: моими руками на земле сделан...», «Иные меня чудачком считают: что-де все неймется — отдыхал бы...», «Пожить охота, порадоваться, наработаться досыта — мне и семидесяти еще нет...»

Плыли звуки.

Возле Петра Григорьевича, обхватив рукою опорный столбик крылечка, сидела Григорьевна, и, вовсе не походя на мужа, была в эти минуты очень похожа на него.



Будто родился вновь...

Алексей ЧЕЧУЛИН

Рисунок Сергея Копылова

Пот уберу со лба,
Стружки смахну рукой.
Квас холоднее льда
И на душе покой.

Будто родился вновь.
Новая жизнь светла.
Это меня любовь
Юностью обожгла.
Радостью — вот она! —
Нынче полна душа.
Буду стругать без сна
Доски для стеллажа.

Стружки — не сосчитать,
Квас — подойдет ко дну.
Что ж ты, природа-мать,
Жизнь мне дала одну?

Разрозненные годы
В одно соедини.
Вот годы-непогоды,
Вот солнечные дни.

Светили небывало
Мне звезды на заре.
Бывало, прибывало
Косым дождем к земле.

Но било, не прибило.
Я вырос на дожде.
Когда же это было,
А если было — где?

Закаты и восходы.
Живи и не грусти.
Разрозненные годы,
Как зернышки в горсти.

Замшелый пень и одолень-трава.
Ручей бежит и ухают коряги.
Я редкий гость в лесу, и голова
Становится чиста, как лист бумаги,
Что ждет в тиши неспешного пера,
Суля успех и угрожая срывом...
Как просто быть негаданно счастливым
Под сенью леса с раннего утра.

Еще кузнечики стрекочут
На посеребрённых лугах.
Еще кричит продрогший кочет
И тает просинь на губах.
Но приглядишься к природе с тщаньем,
Приметишь, что уже она
Полна не с травами прощаньем,
А встречей с осенью полна.

Нам век отпущен крайне маленький.
Едва ты понял жизнь — прощай!
Ошибки правь, грехи замаливай,
Быть благородней обещай.
Все это так, но в память врезаны
Слова отцовские давно:
«На все дела не хватит времени.
На добрые — хватить должно».

РАБОТА

Мысли, вы тяжелее камня,
Слаще воздуха, горячей огня.
Набиваю карманы черновиками,
Больше нет ничего у меня.

А какие из них не напрасны?
Многим ли уцелеть к рождеству?
Все равно подступает праздник:
Работаю — значит живу.

В ПОЛНОЧЬ

Июньская светлая полночь.
А бабка в соседнем саду,
Склоняясь над грядкой, хлопочет,
Выпалывая лебеду.
Сдается мне, бабка довольна:
Внучата давно уже спят,
Работа по сердцу, давленье
Пошло, вероятно, на спад.
Сноха поутру удивится —
Свекровка еще в моготе.
И бабка почти что девицей
Порхает уже в темноте.
И я извлекаю уроки,
И я начинаю спешить.
Хоть полночь, хоть близятся сроки —
Работай и радуйся жить.

ПЕСНЯ

Написав тебя с кровью,
я сердцем поправил строку.
Ветру дал на рецензию,
полночи выслушал отзыв.
И на волю пустил,
где за солнышком следуют грозы
И не каждый из нас
одолеет подъем на скаку.
Что ж, счастливого лета,
счастливого лета тебе.
И быть может, зима не закроет
навеки снегами
И река унесет,
на прощанье взмахнув берегами.
И ты станешь нужна
чьей-то родственной в мире судьбе.
Ты пройдешь на рассвете
у тронутых тиной вод,
Возле старых опушек,
где жаркие травы скосили.
Через сельскую кузницу
и через могучий завод...
Только б силы достало —
а там уж что скажет Россия.





НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ИНТЕРВЬЮ

Евгений ЕРМОЛОВИЧ

Комментатор областного радио Михаил Мельников три дня мотался по фермам, овощехранилищам, зерноскладам. Знакомился, удивлялся, возмущался. И когда звучал его еще по-юношески звонкий смех, в глаза вдруг особенно ярко бросалась седина: густые вьющиеся волосы Мельникова были отлиты словно из серебра.

Этот день выдался тихим и застал Мельникова в избушке местного охотника... Еще не раздевшись с дороги, подсел он к маленькому окошку и молча смотрел на первые, еще не зимние редкие снежинки...

Надо сказать, Михаил, несмотря на вечную свою улыбку, принадлежал к породе неудачников. Жизнь обходилась с ним круто. Многие, конечно, этому не поверили бы: как же так — комментатор и вдруг — неудачник! Ну, допустим, плотник там или, скажем, слесарь, даже конструктор, и то понятно! А ком-мен-та-тор?! Ведь одно слово что значит!



И тем не менее это было так. Начиная он как фельетонист. Хотя фельетоны его были беспощадны и бескомпромиссны, но стреляли все по мелочам, на уровне соседских склок. И вот однажды наступил его день. На совещании у редактора (Мельников тогда работал в областной газете) был наконец-то найден настоящий корень всеобщего зла — травополье! Выяснилось, что многие директора совхозов, а особенно председатели колхозов, вместо того чтобы денно и ночью думать только о хлебе, отводили часть земель под овес, многолетние и даже однолетние травы.

— Мы призваны искоренять зло в зародыше и при этом так, чтобы другим было впредь неповадно!

Когда редактор произнес эти слова, все невольно повернулись к Мельникову. По тому, как он сжал зубы, стало ясно, что Миша уже созрел для борьбы.

И впрямь, очень скоро от руководителей близлежащих совхозов и колхозов полетели пух и перья.

Но в тот самый момент, когда истина вот-вот должна была восторжествовать, а на полях не осталось клеверинки, выяснилось, что Михаил сражался против тех, кого надо было защищать. Мельников хотел уволиться — не отпустили. Его энергию переключили на охрану природы родного края. Очертя голову бросился Михаил в водоворот из выхлопных газов, канализационных сбросов и дымовых завес. Несколько лет, забыв детей и друзей, бегал он из учреждения в учреждение, шумел и саркастически хохотал на совещаниях, мелькая на страницах газеты. За всей этой суетой от него как-то незаметно ушла жена. Это было настолько нежиданно,

что Мельников похудел, поседел. С тех пор, уйдя из газеты, он и числится комментатором.

...Неожиданно в комнате стало темно. За окном снежинки пушистыми парашютиками медленно плыли к земле. Словно о чем-то сговорившись друг с другом, они неожиданно поворачивали к окну и, застыв на месте, задумчиво глядели на двух молчаливых людей. Потом, испугавшись их взглядов, бросались в сторону, стремительно летели к земле, но, видимо, передумав, как на воздушных шариках, опять поднимались, чтобы еще раз украдкой заглянуть в прокуренную до синевы комнату.

— Какая красота, — произнес тихо Мельников. Ему вдруг стало больно за себя и других таких, как он, кого судьба загнала в серые каменные мешки и на мир-то дает взглянуть только через запыленные стекла квартир и кабинетов. Хорошо, что сегодня не надо было рыться в бумагах или спешить домой в душную городскую квартиру. У него срочное задание — подготовить передачу о местном охотнике Кузьмиче, который во время войны служил в разведке, не раз ходил в тыл врага. Кавалер двух орденов Славы, выкравший фашистского генерала прямо из немецкого штаба.

Кузьмич предложил, пока не стемнело, побродить по лесу с ружьем. Деревья стояли голые и печальные, словно обиженные судьбой. Под ногами шуршал ковер из желто-оранжевых, умирающих листьев. Тишину нарушали только редкие вороны. Шагалось легко, размашисто.

Вскоре Полкан взял заячий след и залился на всю округу звонким, счастливым лаем. На-

пряженно вглядываясь в чашу, Кузьмич объяснил, что зайцы бегают по кругу. Косой скоро будет здесь.

Голос Полкана то приближался, то исчезал. Казалось, его погоне за зайцем не будет конца. Михаил опустил ружье, и в это время из леса медленными прыжками выплыл белый заяц. Во время полета, когда распрямлялись лапы, заяц казался неправдоподобно большим. Михаил вскинул ружье и, когда заяц, заметив человека, стал делать поворот, нажал на спусковой крючок.

— Ого, вот это выстрел! Поздравляю! — Кузьмич бросился перехватить выскочившего из-за кустов тяжело дышавшего Полкана.

Мельников стоял над убитым зайцем и смотрел, как с его мордочки стекала на первый снег алая струйка крови.

— Что уставился, клади трофей в рюкзак да будем двигаться, а то скоро начнет темнеть, — бросил озабоченно Кузьмич.

Вглядываясь в притихшего Михаила, егеря понимающе улыбнулся:

— Не выйдет из тебя охотник.

...В печке трещали смолистые дрова. Кузьмич заваривал чай. Полкан тяжело вздыхал под столом и при каждом движении гостя поднимал вопросительно морду. Михаил сидел в углу, блаженно вытянув натертые сапогами ноги. Пахло стorerшей берестой и свежими сосновыми стружками. Михаил закрыл глаза. Вспомнилось далекое и родное. Когда это было, где? Ах да, пионерский лагерь... лес... громадные стрекозы... и этот смолистый терпкий запах. Видимо, мы жили в только что построенных домиках... Как было беззаботно и празднично!

Мельников вздохнул и стал наблюдать за Кузьмичем, который возился у плиты. Кузьмич что-то напевал под нос, старательно заваривая чай. Михаил шестым чувством вдруг понял, что наступил самый подходящий момент для интервью. Стараясь не привлекать внимания, поудобнее устроил на столе портативный магнитофон.

— Раз, два, три, четыре, пять... проверка... проверка, — раздался его деловой голос.

Кузьмич замер у плиты. Перехватив его настороженный взгляд, Михаил добродушно засмеялся.

— Что, Кузьмич, примолк? Дело это, прямо скажем, простое-пустяковое.

— А может, сначала похлебки поедем, с дороги-то?

— Да ну, что ты! Это же нам раз плюнуть! — проговорил Мельников, слегка подталкивая Кузьмича к столу.

— Так-то оно так... А огурчики какие — объедение! Сейчас из сенок принесу.

— Огурчики... малосольные... отлично! Но это потом. Не спорь, не спорь. Сам знаешь: работе — время, потехе — час. Значит, так, где ты взял генерала?

— В блиндаже.

— Ночью?

— Ночью.

— Ага. Хорошо. Просто даже замечательно. Об этом ты мне сейчас и расскажешь.

Кузьмич нахмурился, сел к столу и обреченно уставился на магнитофон.

— Ну, что ж, тебе, конечно, виднее.

— Вот именно. Итак, сосредоточились, включаю и... пое-ха-ли... — Пленка закрутилась, и Михаил поднес микрофон к подбородку Кузьмича. Тот было подался назад, но потом овладел собой, свел решительно кустистые брови, кашлянул и... замолчал. Михаил терпеливо подождал, поиграл желваками и выключил магнитофон.

— Ну... Кузьмич! — Мельников театрально развел руками.

— Непривычно как-то, — виновато улыбнулся Кузьмич... — Потренироваться бы малость.

— Ни в коем случае! — Мельников схватился за сигареты. — Это, Кузьмич, уже старая концепция, так сейчас никто на радио не работает. Нужна непринужденность рассказа, раскованность всей личности, понимаешь? Итак, вспомни... была темная ночь... тревожно шумели деревья... перед тобой блиндаж... Ну и пое-ха-ли!..



Кузьмич срывающимся голосом продолжил:

— Ну, ворвался я... Ворвался, значит, в блиндаж. Смотрю — за столом фрицы. Один, который в центре, значит, весь в орденах.

Мельников показал большой палец и одобрительно кивнул головой.

— Ну, выхватил я гранату. Руки вверх, кричу, суки!

Мельников резко выключил магнитофон.

— Ну, что ж, это уже неплохо. Я бы даже сказал — хорошо. Правда, голос какой-то, простите, загробный. Но это поправимо. Только никаких «ну». И еще. Экспрессия — это, конечно, хорошо. Но при чем здесь «суки»?

Кузьмич виновато почесал затылок.

— Черт его знает, как вырвалось. Сгоряча, что ли?

— Я не против простонародных словечек, но надо помнить, что все это делается для эфира. Ведь слушать будут тысячи людей.

— Тысячи? Да ну, ты что, серьезно?

«Эк, дал ляпу», — подумал Михаил, а вслух спокойно пояснил:

— Ты только не волнуйся... чувствуй себя раскованно, как хозяин. Ты ведь у себя дома? — тоном гипнотизера заговорил он. — Это ведь не ты, а я у тебя в гостях... я.

— Но... тысячи... экая уйма.
— О, господа, дались тебе эти тысячи! Ну не тысячи — сотни, а возможно, и вовсе никто! Теперь всем подавай телевизоры! Как упрутся в него глазами, так за весь вечер не оторвутся от стула... Итак, ночь... деревья... Блиндаж... Ну, с богом, пое-ха-ли!

— Вскакиваю я, значит, в блиндаж. Выхватил гранату. Руки вверх, кричу, су... сволочи!

— О, господа! Сволочи? Какие там в эфире могут быть еще сволочи? Кузьмич, дорогуша, ну какие там, к черту, сволочи, я тебя спрашиваю?

— А кто же еще?

— Как кто же?!

— Да фашисты, кость им в глотку! Кто они по-твоему?!

— О, господа! Да, они гады, паразиты, я бы сам их из пулеметов. Ну, Кузьмич, это же радио. Какие тут могут быть «сволочи»?

— А ты на меня не кричи!

— Да кто же на тебя кричит? Я с тобой режиссурой занимаюсь.

— Тоже мне — режиссура, — пробурчал вконец расстроенный Кузьмич. — Да мне легче еще одного генерала выкрасть, чем... Выключи ты эту шарманку, все равно ничего не скажу больше. Хватит с меня, сыт по горло!

Мельников, тяжело вздохнув, выключил магнитофон.

— Вот так-то оно будет спокойнее, а то руки уже трясутся.

Кузьмич, словно ничего и не произошло, накрывал на стол.

— Давай лучше, Миша, как говорят у нас, пригубим малость.

— Врачи не советуют!

— А ты их больше слушай, врачей-то... То пишут, что чай вреден для здоровья, то, значит, наоборот: чай полезен, а вреден кофе. Однако не принуждаю... Да и сам могу обойтись...

— Да, нервная у вас работенка, — задумчиво произнес он чуть погодя и стал деловито хлебать похлебку.

Михаил не отставал от хозяина. Он насытился, согрелся и чувствовал себя по-своему в этой избе. Заметив внимательный взгляд Полкана, озорно подмигнул ему.

— Красавец! Какие уши! Уши-то какие у нас кудрявые... А язык... Ух и рыжий же ты, Полкаша. Рыжий до невозможности... Но все же самое прекрасное в тебе — это глаза! Не сравнишь собаку с лошастью. На ту посмотреть со стороны — загляденье! А взять, как говорится, в разрезе — дура дурой.

— Ну, это ты зря, — возмутился Кузьмич. — Ты лучше послушай, что я тебе расскажу... Вот как ты думаешь, кто я такой?

— Как кто? Охотник.

— Кем, по-твоему, я до пенсии работал?

— Ну-у... про то, как ты воевал, я знаю, а вообще-то...

— Работал я участковым. Милиционером. Так вот, — продолжал Кузьмич. — Был в нашем селе один тип. Некто Георгий Петрович Сергеев. Впрочем, дружки его всегда звали — Жорик. Отец на шахте главным инженером, мать — завмаг, а сына им словно подбросили какие-то проходимцы. Разболтанный до невозможности. В женском общении особенно безобразничал. Пытался завести на него дело, да девчата трусливые оказались. Он над ними измывается, а они молчат.

Как-то осенью — дожди уже вовсю пошли — подъезжаю к шахтерскому поселку. Навстречу бежит какая-то бабуся. Руками машет, греблет, кричит, убивают. «Да кому твоя жизнь понадобилась, старая?» — спрашиваю. Тут она мне и растолковала, что в магазине трое бандитов в черных масках требуют у продавца деньги. Мать честная, думаю, ну и дела пошли, ежели бабка не спятила с ума! Я Гришку вожжами по бокам, в ту пору он был еще хорош на бег, и пустил его во весь галоп.

— А что, действительно оказались в черных масках?

— Представь себе, как в американском кино! Хоть и далеко были еще, а когда один повернулся и запрыгнул на подножку машины, показался он мне знакомым. Увидели меня, нажали на педали и — в проулок, чтобы через лес к большаку выскочить.

Я за ними, вспомнил, что в одном месте колея разбитая, после

дождя должны забуксовать. Первый раз в жизни все удилла на Гришке чуть было не оборвал, пена с кровью летит во все стороны.

Вырываюсь к тому месту, где колея плохая. Так и есть, возятся около машины двое. Выпрыгнул из ходка и к ним. Где же третий, думаю? Вдруг из-за березы, вот так, рукой подать, этот третий с ружьем навстречу мне. Глянул — Жоржик! Криво улыбается и поднимает ружье...

Когда очнулся, сразу вспомнил и стволы, и злые его глаза... Встал кое-как на четвереньки. Видать, присыпали сверху, чтобы незаметно было. Что делать? Неужели, думаю, мне здесь помирать придется. Вспомнил про лошадь. «Гришка, — кричу, — Гришка!» Слышу — ржет!

— Не может быть!

— Ей-богу, не встать мне с места!

Продрался мой Гришка через кусты, меня в плечо мордой — тык! Губы теплые, мягкие... родные. Кое-как за узду да за оглобли дотянулся до ходка. Остальное уже знаю со слов сельчан.

Рассказывают, хозяева мои — старик со старухой — собрались уже было спать. Ан слышат, вроде бы кто на подводе подъехал. Подъехать-то подъехал, а в избу не заходит. Потом вдруг лошадь заржала... Вот тебе и дура — лошадь-то...

На следующий день, едва занялось утро, Кузьмич доставил Михаила на станцию. Народа почти не было, и Михаил без труда купил билет. Тем временем Кузьмич разнуздal свою лошаденку и насыпал в колоду овса.

Где-то вдали загудела электричка. Кузьмич подошел к Мельникову, постоял, понурив голову.

— Слышь, Миша, ты бы к нам как-нибудь заезжал, а? Так просто, без всяких дел. В любое время... Мы ведь только втроем — я, Полкаша да Гришка!

— Как Гришка? — удивился Михаил.

— Да так... Получаю как-то письмо от председателя колхоза.

Пишет, выбраковывать надо лошадей. Рука, мол, не поднимается продать Гришку цыганам. Подарить хотим тебе за многолетнюю примерную службу...

Мельников молча смотрел на Гришку. Перед ним стояла обыкновенная деревенская лошададка с прогнувшейся от работы и времени спиной, отвислым животом. Она подслеповато посмотрела куда-то мимо Михаила и опять принялась подбирать в колоде зерно.

— Ты не смотри, что он на вид невзрачный. Старость — не радость, но на ход еще ничего. Заметил, всю дорогу бежал, а? Трусцой, правда, потихоньку, но бежал! Мы с ним хлеб не зря едим: осенью дровишки в школу привезем, зимой — сено по кормушкам разбрасаем. Коз у нас тут — тьма-тьмушая. Есть и сохатые.

Мельников набрал из колоды овса и осторожно поднес к Гришкиной морде. Конь было подался назад, затем обнюхал тугими ноздрями незнакомое плечо, чем-то успокоился и погрузил свои широкие мягкие губы в человеческие руки. Какое-то мгновение губы были неподвижными, видимо, Гришка все еще что-то выжидал, затем доверчиво зашевелились...

Электричка осторожно тронулась с места. Михаил стоял в тамбуре у раскрытой двери и смотрел, как там, на припорошенном первым снегом полустанке, Кузьмич, подергивая вожжами, разворачивал телегу. И скоро он вместе с Гришкой и Полканом исчез за набежавшими деревьями.

— А двери за вас кто, тетя, что ли, будет закрывать? — раздался строгий голос.

Мельников повернулся. Перед ним стоял контролер.

— Ваш билетик!

Публикация
В. ЕРМОЛОВИЧ

Приз журнала — ЮНЫМ ТАГИЛЬЧАНАМ

В честь 50-летия Госавтоинспекции был объявлен конкурс юных инспекторов движения Свердловской области на приз журнала «Уральский следопыт». Ребята развернули поиск в архивах, заглянули в домашние фотоальбомы ветеранов ГАИ, в картотеки местных краеведов.

Во Дворце пионеров Дзержинского района Нижнего Тагила при клубе «Поиск» создан отряд юных инспекторов движения. Он разыскал первого госавтоинспектора в городе — И. В. Кривошеина, других ветеранов службы безопасности движения. На открытом сборе клуба «Поиск» ребята узнали от них о первых шагах ГАИ в Нижнем Тагиле, первых в области светофорах, общественных постах.

За большую, интересную работу отряд юных инспекторов движения при клубе «Поиск» награжден главным призом — каслинского чугунного литья статуэткой «Следопыт».

А вот отряд ЮИД ирбитской школы № 3 привлекла история дорог и автотранспорта родного города. Ребята подружились с местным краеведом Я. Л. Герштейном, который рассказал, что в 1896 году по улицам Ирбита впервые проехал автоэкипаж, с которого городская дума брала налог по 2 рубля в год с одной лошадиной силы мощности двигателя. А в 1909 году представителем фирмы «Товарищество Гаген» на Ирбитской ярмарке был представлен проект грузоперевозок от Камышлова до Ирбита с помощью четырех автомобилей. Они должны были возить грузы со скоростью 18—20 верст в час. Намечалась постройка мастерских, «теплого сарая» (гаража).

Сравнить прошлое с настоящим решил отряд ЮИД школы № 7 Первоуральска. И получился красочный альбом с рассказами об указах Петра I и новых Правилах дорожного движения, о первых в Первоуральске мотоциклах и специализированных патрульных автомобилях сегодняшнего дня.

Жюри конкурса на приз «Уральского следопыта» отметило поисковую работу и городского штаба «Светофор» (г. Каменск-Уральский), и отряда ЮИД детского клуба «Автомобилист» (г. Реж), и кружка ЮИД Дома пионеров Чкаловского района (г. Свердловск). Им вручены «Жалованные грамоты», бесплатные годовые подписки на «Уральский следопыт» и подарки областного управления ГАИ. Десять юных инспекторов движения, которые особенно преуспели в поисках, награждены электромобилями «Баги» и «Умка», юбилейными значками ГАИ.

Конкурс завершился... и конкурс продолжается!

Областное управление ГАИ и редакция журнала «Уральский следопыт» приглашают вас, ребята, продолжить поиск до 1 декабря 1988 года. Новые работы по истории ГАИ, дорог и автотранспорта — фотографии, альбомы, рефераты, экспонаты — присылайте по адресу: 620146, Свердловск, ул. Чкалова, 1, Управление ГАИ УВД Свердловского облисполкома.

Редакция журнала
Областное управление ГАИ

„КОГДА В СЕРДЦЕ ТУШМАЛОВА“

Владимир БАЛАШОВ

Послевоенное студенческое время!..

Страна залечивала все незаживающие раны войны.

И в это-то время Свердловское театральное училище стало театральным институтом.

Я поступил туда летом 1945 года и был совершенно счастлив. Можно было заметить, что в институт поступает много ребят в шинелях и гимнастерках, ребят, хлебнувших военного счастья.

Именно в эту пору я впервые открыл для себя Пушкина.

Вернее, мне его открыли... Но предшествовал этому блистательный провал эстрадной программы, которую я подготовил на третьем курсе и с которой связывал даже судьбу свою.

Меня слушали самые уважаемые педагоги: Гаянэ Аветовна Тушмалова (она преподавала сценическую речь), Сергей Васильевич Попов (старый мхатовец, игравший в свое время вместе с Качаловым) и Мария Абрамовна Мебель (преподававшая нам музграмоту).

Программа моя была, скажу прямо, пошловатой. Я все спел, все прочел. Сергей Васильевич недоумевающе, как мне показалось, вышел из кабинета. Шумно, тоже слова не сказав, вышла, поправив накиннутую на плечи черного каракуля доху, раскачивая громадной, черного же каракуля муфтой, Гаянэ Аветовна. В комнате осталась лишь терпеливая Мария Абрамовна и тут же доказала, что все прочтенное мною — невысокого вкуса, а спетое — цыганщина в самом дурном смысле.

— Это конец, сказал я себе, и нечего теперь надеяться, что буду участвовать в пушкинском вечере. А вечер, посвященный великому поэту, замышлялся грандиозный, и тайной мечтой каждого студента было — выступить на нем. Но разве доверит мне Гаянэ Аветовна читать то, что я хочу?.. А хотелось мне — и хотелось безумно! — читать «Простишь ли мне ревнивые мечты».

Известному уральскому драматургу Владимиру Балашову — 60 лет. Спектакли по его пьесам «Когда в садах лица...», «После лица», «Панихида» (триптих «Пушкиниана»), «Проклятье Андрея Рублева», «Иван Грозный и Николай Псковский», «Преображенцы» (триптих «Русь»), «Легенда о Паганини», «Тема прошлого урока» и другие шли на подмостках разных театров, звучали по Центральному радио. Недавно журнал «Театр» опубликовал новую пьесу В. Балашова — «Бабы».

Сегодня «Уральский следопыт» публикует странички из воспоминаний писателя.

Ясно помню тот миг, когда шло распределение исполнителей. Сидя за изразцовою печкою в одной из аудиторий, я вдруг услышал: «Простишь ли мне...» будет читать Балашов».

Мгновение, определившее годы...

Индивидуального занятия с Гаянэ Аветовной я ждал как манны небесной, потому что там и начиналась собственно работа над стихотворением. Не только работа. Каждое занятие с Тушмаловой было встречей с истинной литературой, с Мастером, знавшим до тонкостей искусство художественного слова. Товарищ Маяковского по Одессе 20-го года, друг Анны Андреевны Ахматовой, Гаянэ Аветовна — человек редчайшего педагогического дара — завораживала нас собою, своей нелегкой биографией.

...Я вошел в аудиторию. Гаянэ Аветовна сидела с ассистентом.

— Выучил? — встретила она меня вопросом.

— Конечно.

— Кому посвящено стихотворение?

Меня бросило в жар: я не знал.

На этом занятии было закончено.

В библиотеке, куда я бросился, мне выдали тяжелый, с кожаными уголками том юбилейного 1937 года издания. Из него я узнал, что «Простишь ли мне ревнивые мечты» посвящено одесской знакомой поэта Амалии Ризнич...

Два месяца мы работали над одним стихотворением. Сколько фантазий, предположений, ситуаций было продумано над этой исповедью, стихотворением-монологом!

Пушкин драматургичен в лирике как никто. Описательность ее относительна. Простота пушкинских строк ошеломляла, манила воображение, взрывала всего меня и — заставляла жить!

И я жил полной, открытой ко всему душою. Пушкин милостиво и щедро — походя — возродил меня...

Окончив институт, летом 1949 года, в дни 150-летия со дня рождения поэта, я сыграл на пушкинском карнавале в пионерлагере Уралмашзавода самого Пушкина.

Поэт читал вступление к «Руслану и Людмиле».

Это была первая наивная попытка, первая проба грима. Храню до сих пор самодельную пожелтевшую фотografiю той поры.

Может быть, тогда и родилась мечта сыграть юного Пушкина на сцене?

Уже актером Свердловского ТЮЗа я написал

письмо драматургу Я. В. Апушкину, стиховые пьесы которого любил, с настоятельной просьбой написать пьесу о юности поэта.

На мое горе (на мою судьбу, как я теперь понимаю!) Апушкин в ответе благодарил меня за теплые слова о нем, но за написание пьесы не взялся: был занят пьесой о Пушкине же, но о кишиневском периоде его жизни.

И тут мне приходит мысль — написать пьесу самому. Я ее гнал от себя несколько месяцев.

Только со временем понимаешь, насколько мы смелы в юности: ясность ответственности приходит к нам с возрастом. И все же я благодарю судьбу, что позволила мне уверовать в мечту.

Пять лет я отдал начальному варианту первой моей пьесы.

Срок, казалось бы, большой и — малый. Ибо я прикоснулся к жизни гения, который, как сказал Аполлон Григорьев, «наше — все».

Прочитана была масса книг, исследований, проштудирован сам Пушкин этого периода и Пушкин возмужавший, изучены Вересаев и Авенариус. Цявловский и Томашевский стали моими наставниками. Но и этого все равно казалось мало. Даже то, что я сам составил словарь поэтического языка юного Пушкина, казалось мне недостаточным.

К 1956 году пьеса об отрочестве поэта была вчерне готова.

Но хотя Пушкин и жил в моем воображении, он, еще не имея **своего** подлинного, освоенного мною пространства, не имел реальный быта, того, что окружало его, как окружает нас.

Мне не хватало «Отечества» Пушкина: воздуха, природы и дворцов Царского Села. Мне не хватало лицей!

Есть такие места планеты, святыни общечеловеческие, уже одни названия которых волнуют сердца самых различных людей. И среди них — лицей, один из самых пронзительных по своему лиризму уголков России. В лицее начинался Пушкин.

Помню день, час, то волнение, с которым я подъезжал в шумном автобусе к лицей, представляя его в своем воображении по репродукциям, помню миг, когда я увидел светло-зеленого цвета здание... И встречи с людьми нас порою так не радуют!

Поднимаюсь по винтовой лестнице, подлинной, сохранившейся с тех времен. По ней бегал Пушкин-отрок, по ней он ходил уже взрослый, упоенный воспоминанием своего отрочества...

Первое, что я решил сделать, — отдать свою пьесу на суд работникам лицей.

Поднялся к хранителю музея на третий этаж, зашел в маленькую комнатку. За столом сидела женщина с профилем Данте. Выслушав меня, бросила, как мне показалось, недоброжелательно: «Что ж, оставьте».

Я спросил что-то относительно ночлега в Пушкине: приехал я не на один день.

— Не знаю, не у себя же мне вас устраивать. Я положил рукопись и вышел.

Раздосадованный, спустился по винтовой лестнице вниз и вышел на солнце. Прошел под аркою, соединяющей Екатерининский дворец с лицеем... Под этой аркой проходили в 1812 году войска, сверкали кивера, блистали штыки, цокали копыта казацких лошадей, под этой аркой шли на войну многие из будущих декабристов.

У непарадного крыльца лицей экскурсовод говорил группе туристов:

— Зимним утром восьмого января 1815 года трое лицейцев в парадной форме: в синих с красными стоячими воротниками мундирах, в белых лосинах, в ботфортиках, вот у этого самого крыльца, дрожа от холода, ждали возок с Гаврилою Романовичем Державиным. Это были медлительный Дельвиг, неловкий Кюхля и голубоглазый, подвижный Пушкин...

После, бывая в музее на Мойке, посетив Тригорское, я встречал служителей, которые, осознанно одеваясь, имея даже и в прическе что-то от пушкинских времен, умно вели себя, сохраняя для нас атмосферу и час, живые детали прошлого и те маленькие подробности, за которыми вырисовывалось обидное прошлое, ставшее для нас осязаемым, а потому волнующим до слез.

«Чтобы заставить чувствовать других, надо чувствовать самому», — говорил Паганини.

Я вышел Екатерининским парком, липовой аллеей лицейских времен... Я трогал деревья, которых касались и руки бегавших когда-то около них лицейцев. Они не только учились, но и озорничали. (В пушкинском кабинете Пушкинского дома в дореволюционных изданиях я нашел немало озорных лицейских песен, от которых хохотал, нарушая академическую тишину.)

Екатерининский дворец...

Солнце высвечивало раненное войною здание. Оно выглядело, как скелет какого-то окаменевшего гигантского зверя. Очертания, приданные ему человеческим гением, лишь угадывались. Я словно присутствовал на похоронах великого человека.

И никакие слова, проклятия, никакие мысли о возмездии фашизму не убавляли боли, горечи, гнева, страдания.

К вечеру вернулся в лицей. Когда зашел в комнату хранителя музея, понял, что пьеса моя прочитана.

Мария Петровна Руденская сидела за столом и, не торопясь, курила.

— В лицейском садике были? — вдруг спросила она. — Нет? Идемте.

Мы прошли мимо лицейской церкви в садик, к классической скульптуре задумавшегося юного Пушкина, созерцание которого нам дарит думы — как знать, не близкие ли тем, которыми волновался он?

Младых бесед оставив блеск и шум,

Я знал и труд, и вдохновение.

И сладостно мне было жарких дум

Уединенное волнение...

Как часто одиночество единит нас с людьми...

Ночевал я у Марии Петровны. Небольшая ком-

ната разделена пологом. За пологом спала она сама с дочерью Светланой, в «гостиной части» — я.

Много было в этот вечер оговорено, расспрошено, узнано.

Кажется, перед сном Мария Петровна, профиль которой мне уже не казался профилем сурового Данте, спросила:

— А кто будет играть Пушкина?

Как после она мне говорила, я ответил, что никому его не отдам.

На другой день мы бродили по парку с Марией Петровной и искали, почти ночью, место, где лицеист Пушкин мог проститься навсегда со своею первою любовью Наташею, актрисой крепостного театра графа Варфоломея Толстого.

Картина прощания была написана, но, не зная хорошо парка, я не мог указать это место в ремарке.

Увлеченных своим делом людей я встречал в жизни много, людей, счастливых своим Призванием, меньше, но в числе их Мария Петровна занимает место едва ли не первое.

Знаток Пушкина, исследователь прошлого лицея... Познания ее поражали не только глубиной, но, если хотите, живою ученостью.

Она разговору могла дать направление такое неожиданное и необходимое, что я не устаю поражаться ей и сейчас, когда ее уже нет.

Вот уж поистине самозабвенный исследователь, тяжкий труд которого обернулся признанием и уважением многих пушкиноведов. Кого только она не консультировала! Сколько было открыто ею! Последняя реконструкция музея-лицея — результат поиска, которому Мария Петровна отдала жизнь.

Ее любовь и привязанность — первый директор лицея В. Ф. Малиновский, а из лицейцев — Владимир Вальховский. На всех, всех наставников лицея и лицейцев у нее заведена была картотека, в создании которой ей помогала Светлана. (Позже вместе с дочерью она напишет книгу о лицейцах первого выпуска.)

От Руденских взял я за правило отмечать в своей семье день рождения Пушкина. Многие ленинградцы, особенно старые ленинградцы — «петербуржцы», отмечают этот день.

Мы обошли с Марией Петровной озеро. Я бормотал:

Навис покров угрюмой ночи
На склоне дремлющих небес;
В безмолвной тишине почил лес и рощи,
В седом тумане дальний лес.

— С этих мостиков Александр Первый любил кормить лебедей, — говорит Мария Петровна.

В прибрежных кустах слышалось журчание роника.

— Здесь Пушкин мог проститься с Наташею, — стоя в отдалении, созерцая словно бы заново статую Девушки с кувшином, негромко говорит Мария Петровна.

Я наклонился к льющейся из разбитого кувшина

родниковой воде и глотнул прохладную влагу. Какой-то внутренний голос — голос без голоса — говорил мне: «Запомянай».

Через полгода, в марте 1957 года, я выбегал в костюме Пушкина на сцену, подбегал к статуе Девушки с кувшином, к ручью и, напившись, охлаждал свой горячий лоб, ибо знал, что прощаюсь с Наташею навсегда.

Спектакль «Когда в садах лица...» был поставлен В. Я. Мотылем, ныне известным кинорежиссером. (Хочется думать, что этот спектакль — изначальный импульс, приведший впоследствии В. Я. Мотыля к постановке известной кинодилогии «Звезда пленительного счастья».)

Роль Пушкина далась мне нелегко. Впрочем, мне редко что дается легко. Или я берусь не за свое? Или за свое, но недосыгаемое?

Вспоминая репетиции, ярко помню одну из них. В зале — только режиссер. Идет сцена в классе. Пушкин вбегает и видит, что в его конторке роется профессор немецкой словесности Ф. М. Гауэншильд.

Пушкин (в ответ на неловкое замечание Гауэншильда о книгах, привезенных им из родительского дома): Вы... не смеете!

Гауэншильд: За эту дерзость вы будете сидеть на дальней скамье.

(Жило в лицее правило, когда провинившийся лицеист наказывался тем, что сидел на дальней от преподавательской кафедры скамье.)

Гауэншильд (артист К. Г. Щепкин) выходил из класса. Пушкин (я) стоял, не обращая никакого внимания на несправедливого профессора. Я же оскорблен!

— Стоп! — Мотыль, высокий, худощавый (он мне всегда напоминал Кюхельбекера), дошел из глубины зала до середины.

— Ты кого играешь?

— Отрока, родившегося в дворянской семье.

— В дворянской!.. Как же ты мог не поклониться своему наставнику, даже если он и несправедливо наказал тебя! Ты же учишься в придворном лицее! Снова...

Репетируем снова. Гауэншильд, наказав меня, выходит из класса. Я вежливо кланяюсь.

— Стоп!

Теперь уже ничего не понимаю.

Мотыль (подойдя к оркестровке): Ты кого играешь?

— Владимир Яковлевич, я играю мальчика, родившегося в дворянской семье, который не может не поклониться, — начал я...

Мотыль, мотая головой (он редко смотрел прямо в глаза), пропустил мою иронию мимо ушей:

— Все правильно. Кроме одного. Ты играешь Пушкина. Какая человеческая черта первая из всех его черт?

— Независимость.

— Угу. «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». А так, как ты, может поклониться Горчаков, кто угодно, но не Пушкин...

Снова повторяем сцену.

Время шло. И был первый черновой прогон спектакля без костюмов. Я репетировал как всегда, но на производственном совещании меня ожидал разнос.

Разгром моей версии Пушкина. Ругали за то, что я, зная очень много о Пушкине, следуя **всем** частностям его характера, его привычек — грыз перо, вел себя «дичком», был «юлой и егозой». Короче, все заметное из арсенала внешнего поведения Пушкина, узnanное мною из воспоминаний, было во мне. Все было. Кроме **поэта**.

Я потонул в частностях.

Совещание предлагало другого актера на роль Пушкина.

Заклячая его, Мотыль сказал:

— Если спектаклю суждено появиться, то он появится только с Балашовым в роли Пушкина.

Странно: я был спокоен. Я даже спал в ту ночь!

Утром был назначен другой прогон. Я вертелся около кабинета Мотыля. Он появился, прошел, кивнув, и... не вызвал меня. Не поговорил со мной и перед самым прогоном.

Он доверился моему знанию Пушкина и моему отбору в ощущении его характера.

Я решил освободиться от груды знакомого и оглядеться в роли **глазами поэта**.

Шелуха внешне найденного спадала. В поведении нашего с Мотылем Пушкина осталось только необходимое: он мог считаться поэтом...

К сказанному хочется присовокупить еще один эпизод, связанный с общей судьбой пушкинского лица.

Спектакль жил жизнью обыкновенного спектакля, но разговоров вокруг него было немало, ибо это был спектакль о Пушкине.

В те-то счастливые дни я и узнал, что у нас в Свердловске хранится лицейская библиотека.

Тайны большой в этом не было. Немало потрясающего и неожиданного находится порою рядом с нами.

На следующее лето я снова был гостем семьи Руденских.

Снова разговоры о Пушкине (мне уже брезжил замысел второй пьесы о нем), снова бесконечные прогулки по парку, по лицу.

Однажды мы подошли с Марией Петровной к галерее, связывающей лицей с Екатерининским дворцом.

— Здесь у них была библиотека... Надо бы восстановить ее, но библиотека лица потеряна, — как-то примирительно сказала Мария Петровна. Вероятно, потеря библиотеки была для нее болью постоянной, но давней.

— Как потеряна? — недоумеваю я. — Библиотека — у нас в Свердловске. Разделена: часть фонда находится при университете, часть — и в этом я сам убедился — при политехническом институте.

— ?!

Мне стоило большого труда убедить Марию Петровну, что это так.

Сошлись пока на том, что я по возвращении в Свердловск попытаюсь с друзьями составить каталог имеющихся лицейских книг при университете.

На мою просьбу в Свердловске откликнулась небольшая группа удивительных людей, знавших в совершенстве французский язык: Е. К. Буркова, ленинградка по рождению, В. И. Павлова, в свое время окончившая Сорбонну, и их уже седые или еще седеющие подруги. Им помогала моя жена.

Часами просиживали они в библиотеке университета, скрупулезно создавая карточки на книги со штампами императорского Александровского лица.

Как же лицейская библиотека оказалась в Свердловске?

Вот что писала в журнале «В мире книг», № 6 за 1977 год З. Афанасева в статье «Одиссея лицейской библиотеки».

«В 1920 году по решению Советского правительства библиотека была передана только что созданному Уральскому университету. Правда, часть книг оставалась в Петрограде, в основном журналы и первые издания сочинений А. С. Пушкина. Этот фонд рассеялся по книгохранилищам Академии наук СССР, Ленинградского университета, Пушкинского дома и Павловского дворца-музея. (Что, вероятно, и затруднило поиски библиотеки. — В. Б.) Но это была капля в море по сравнению с теми сокровищами (пятнадцать тысяч томов!), которые были отправлены в Свердловск».

Когда через год ровно Мария Петровна подвела меня к шкафам красного дерева, стоящим в галерее, где когда-то вечерами при свечах склонялась над книгами курчавая голова смуглого мальчика, он, «юла» и «егоза», преобразался, становился неузнаваемым, поглощенный тем, что открывал о мире, им потом постигнутом, описанном и как бы заново созданным для людей.

В старинных шкафах красного дерева стояло двести книг, пока еще только двести, в кожаных, тисненых, тронутых временем переплетах, к которым прикасались лиценсты первого, «золотого», выпуска Александровского лица, люди, которые впоследствии составят немеркнущую славу России.

Как-то роюсь в своих записных книжках, я натолкнулся на запись: «Березка на Ек. дворце...»

И написались строчки, которыми и хочется закончить мой рассказ о годах, когда я ежедневно жил Пушкиным:

Я помню вид сожженного дворца
И скорбный вид лицейского пристроя
Военных лет, когда рука творца
Была нужней средь создания боя.

Горбился искореженный паркет
На месте том, где вскинутой рукою
Себе предначертал судьбу Поэт
Тогда еще державинский строфом.

Ажурный металлический балкон
Был ржавчиной обрызган, словно кровью.
И ветру била нехотя поклон
Березка над разрушенною кровлей.

Когда я мыслю о земном конце,
Мне видится — березка на дворце!



очень утомленным, похудевшим. Я привык видеть его все время в работе, в действии и только теперь, когда произошла вынужденная остановка, по-настоящему понял, каких усилий стоило ему так держаться. Темнота в машине позволила ему расслабиться.

Было тихо, только ветер с песком бился о стекла да фырчали невыключенные двигатели. Впереди все пространство загоразживал бронеход, он стоял, как стена, перед нами — великолепная, что ни говори, машина, отлично приспособленная к условиям песчаной пустыни, тяжелая, массивная, внушающая спокойную уверенность... Все мешала остановка. Такие сильные, такие мощные, такие надежные бронеходы оказывались игрушкой обстоятельств. Мы двигались



ОСТАНОВКА

Татьяна ТИТОВА

Рисунки Александра Чернова

Ночью движение прекратилось. Бронеходы медленно тормозили, зарываясь гусеницами в песок. Что-то случилось в середине, там, где плотной толпой двигался народ со своими повозками и тяками с барахлом.

В свете фар нашей машины был виден широкий темный корпус предыдущего бронехода с габаритными огнями. Я приподнял крышку люка, подавшуюся со скрипом. Песок влетел в кабину вместе с ветром. Черный воздух и беззвездное небо были холодны.

Чем больше мы стояли, тем больше чувствовали бесполезность всего этого предприятия: так нам бесконечно придется двигаться, убегая от внезапно активизировавшихся слепых сил природы. На нас ползли огромные массы сыпучего рыхлого песка, заносащие все на своем пути. Когда прекратится наше бегство? Не раньше, чем песок остановится. Когда песок остановится? Этого никто не знал.

— Захлопни люк. Дует, — сказал Хаскинс.

Я опустил крышку люка и посмотрел на него. Он скорчился в углу кабины, втянув голову в плечи. Уставшие руки он все еще держал на рычагах управления.

Застряли надолго. Из машин выпрыгивали люди, собирались кучками, переговаривались, курили. Кое-кто пошел узнать, что случилось.

Я выключил фары. Светились только зеленые стрелки на приборной доске. Хаскинс выглядел

по приказу через пустыню, сопровождая группу местных кочевников, так же, как мы, уходящих от песка. Все было ясно и просто, Хаскинс не отрывался от управления, мы зверски уставали, мы боролись с песком и ветром; чередуясь, выехали вперед и направляли движение, прокладывая дорогу в песке, снова отъезжали назад на уже проторенный путь, вызывали по радио базу и получали приказ: двигаться, двигаться, двигаться...

Мы остановились. И сразу почувствовали пустоту песков, их томящую протяженность. В сознание ворвались сомнения. Откуда они брались? Мне подумалось, что наше покорение планеты сводится к бегству от песков: все эти постоянные перемещения основных баз с места на место, долгие переходы через пустыни только подчеркивали нашу незащитность. Говорили, будто бы мы помогаем местным жителям, — но ведь они как кочевали, так и кочуют. Разве только впереди и сзади убогих повозок, запряженных песчаными ослами особо выносливой породы, теперь ползут, переваливаясь, бронеходы. Сильные, мощные, надежные...

Мы заняли пустыню. Приняли ее такой, как она есть. С невежественными кочевниками-аборигенами, безводную, необжитую, с небогатой фауной и флорой, с сотнями тысяч километров однообразных песчаных равнин. Теперь мы изменим ее. Построим города, научим жить в них

аборигенов, откроем для них заводы, школы, больницы, добудем воду, посадим деревья, оставим песок...

Мы все это сделаем. Только вот когда? Приезжая сюда, я думал, что наши машины понадобятся максимум на несколько месяцев: нужно было основать первые две-три базы, проложить главные дороги — а дальше придут строители, инженеры, мелиораторы, агротехники...

Не получилось. Места, которые мы выбирали для баз, были удобны, пески — неподвижны. Но стоило хоть немного обжиться, обосноваться, привыкнуть, как песок активизировался. Громадные массы кремнезема приходили в движение, грозя похоронить под собой базу. Приходилось спешно сниматься с места, снова мотаться по пустыне в поисках подходящего уголка. Нашли новый участок, где песок точно уж был неподвижен, закреплен длинными корнями корявых кустов... И снова песок приходил в ярость, снова надвигались сыпучие волны, и мы опять эвакуировали базу. Сейчас она располагалась в трехстах километрах к востоку — еще каких-нибудь пять часов езды с обычной скоростью, нет, не пять, я забываю, что мы не одни, с повозками нам понадобится около двух суток. Да еще остановка. Восемь бронеходов передового отряда торчали в песке, не трогаясь с места, уже... двадцать пять минут. Когда двигались, было легче. Хотя мы и злились, что приходится бежать от песка, все же мы были заняты, мы работали, не вылезая из машин сутками. Мы страстно желали закрепиться и поэтому двигались. Мы хотели бы остановиться. Но, ясное дело, не так, как сейчас.

Бронеходы стояли. Томительно тянулось время. Дул ветер, и сыпался песок. Хаскинс вдруг грустно и жалобно замычал себе под нос, явно полагая, что поет. Я не мог уловить мелодию. Покосился на него. Откинувшись в водительском кресле, полуприкрыв глаза, он разнеженно стонал. Заунывная песня как нельзя больше подходила к обстоятельствам: воет ветер с песком — и воет Хаскинс. У меня сразу заболели уши. Не столько от ветра, сколько от Хаскинса.

Я сказал негромко:

— Хас-скинс! Пр-рекратить!

Он открыл глаза и удивленно посмотрел на меня. Он никак не ожидал, что мой приказ может относиться к сфере его личных интересов и поступков, касаться способов его самовыражения. Я был его командиром, а он моим подчиненным — что да, то да, но еще ни разу я не делал ему замечаний по поведению... прямо как в школе. Он понял это и обиделся. Я не мог за-



претить ему петь и не должен был запрещать. Оставалось теперь только постараться не допустить разлада.

— Слушай, Хаскинс, — сказал я, — а что это ты пел?

Я не ожидал, что он ответит. Но, видимо, он не сильно обиделся.

— Это наша песня, из дома... Танго. «Девушки среди роз, девушки в весеннем саду...» — пропел он.

Я расхохотался. Хаскинс тоже.

— Здорово я фальшивлю? — спросил он.

— Еще как! — смеясь, подтвердил я. — Можно подумать, что ты брал уроки музыки у котов в разгар сезона. Очень похоже.

— Нам намного легче, — вдруг сказал Хаскинс. — Я насчет местных, — пояснил он. — Понимаешь, мы с тобой сейчас сидим, разговариваем, шутим. У нас есть, что вспомнить, хотя бы тот же сад... А они никогда в жизни не видели ничего, кроме песка. Песок, песок и еще раз песок. Все время. Я бы не смог так.

Мне вдруг вспомнилось море. Может быть, по контрасту. Вода, вода и еще раз вода, серая, плотная, с нависающими над ней тучами. Зимнее море, отлив, широкая полоса обнажившихся бурых ламинарий и соленый ветер, ерошащий белые перья на грудке кулика-ходулочника, разгуливающего по отмели в поисках моллюсков. Я с биноклем лежу на скале и наблюдаю. Штормит. Шум волн и песчаная отмель. Тьфу, опять песчаная... Странное дело... Может быть, мы устали. И не может быть, а точно устали. Но мы должны выполнить свою задачу, невзирая ни на какие остановки и ни на какие воспоминания.

Запищал зуммер вызова. Я включил передатчик.

— Экипаж «Б-06» на приеме.

— Вуперс, Хаскинс, как у вас, в порядке?

Хаскинс обрадованно спросил:

— Поехали, да?

— Это Баггинс,— объяснил я Хаскинсу.—
Спрашивает, все ли нормально.

— Скажи ему, чтобы не лез с пустяками.
Черт, я думал, поехали...

— Хаскинс говорит, чтобы ты не лез с пустяками!

— Это не пустяки,— ответил Баггинс.— Знаешь, почему стоим? Там у одной повозки осел ногу сломал, что ли. Мы им предложили разгрузиться, переложить поклажу на другие повозки, а осла бросить, так нет, не хотят. Собрались сидеть и ждать, пока осел не выздоровеет. Может, ты его посмотришь? Может, и не нога вовсе, а так что-нибудь, упрямится, ведь они, ослы, упрямые, а? Посмотрел бы ты. Посмотришь?

— Ладно,— сказал я.— Посмотрю. Поехали, Хаскинс.

Бронеход, взревев, мощно рванул с места. Через минуту мы уже тормозили у груды скопившихся повозок. Я вылез из машины и увидел Баггинса, Гатчинса и других наших, стоящих возле одной из ветхих колымаг. Я побежал к ним, проваливаясь в песок и закрывая лицо от ветра.

Песчаный осел — крупное выносливое животное, похожее скорее на кулана, чем на осла: жесткая короткая грива, мускулистое туловище с острым хребтом и мосластыми крепкими ногами, злобный характер. Ослы эти в диком состоянии теперь не встречаются. Очевидно, их далекие предки бродили по этим равнинам, тогда еще занятым лесостепью. Песок начал наступать позднее, неприспособленные особи вымирали, и неизвестно, сохранились ли бы песчаные ослы сейчас, если б в то далекое время люди не начали их приручать. До сих пор в сказаниях аборигенов упоминаются быстрые, как ветер, дикие животные, которых ловили храбрые охотники, подкрадываясь к водооям...

Я подошел к повозке вплотную и увидел лежащего на песке осла. По пятнистому крупу пробежала дрожь, в глазах стояла тоска. Я наклонился над ним и успокаивающе похлопал по напряженной шее. Осел потянулся зубами — укусить. Один из кочевников коротко крикнул, и осел замер, покорно позволив мне осмотреть его.

Передняя нога была сломана, причем безнадежно — я не был уверен, способна ли она сравниться даже при наличии квалифицированной помощи... Лучше всего было бы его пристрелить. Я так и сказал Баггинсу, ощущая некоторую

неловкость. Как было бы хорошо, если бы осел просто-напросто упрямылся!

Баггинс помрачнел, но все же пустился в переговоры с хозяином осла. Тот покорно выслушал его, посоветовался со своими и согласился. Мы были уверены, что он скажет «нет», слишком большое богатство для кочевой семьи — песчаный осел. И вообще, непонятно было, как люди, более получаса спорившие о том, как быть, вдруг в одно мгновение пришли к полному согласию. Мне показалось, что здесь что-то не так, и я снова спросил у хозяина осла, понял ли он нас и согласен ли пристрелить животное. Тот покорно закивал.

Я оглянулся на Хаскинса. Он молча пожал плечами. Я вытащил пистолет и вновь подошел к осла. Выстрел прервал его страдания. Широкие уши чуть дрогнули, длинные ноги проскреблили по песку, и все кончилось.

Осталось неприятное чувство, которое, я надеялся, пройдет на базе, незаметно улетучится, когда ребята примутся рассказывать встречному и поперечному, что произошло, и я услышу о своем поступке со стороны. Вот уж — событие... Может быть, только я так остро переживаю? Я посмотрел вокруг. Нет, ребята тоже вроде примолкли. Только Баггинс, с серым от пыли лицом, казался невозмутимо спокойным. Что ему гибель животного, если раньше он видывал и смерть человека, старина Баггинс... И он отвечал за нас. Он оглядел всех, потом вдруг заторопился и стал прикидывать, как прицепить буксирный трос к злополучной повозке. Хаскинс с сомнением посмотрел на манипуляции Баггинса с тросом и сказал: «Не стоит. Она ведь расщепляется». Хозяин повозки закивал. Тогда мы приготовились вмиг перекинуть его вещи на рядом стоящие возки, но он заупрямился. Мы дружно надели на него с убеждениями, Баггинс в нетерпении совал ему под нос свои часы, стучал по циферблату и быстро-быстро кричал по-местному, постепенно начиная нервничать. А старину Баггинса не так-то просто вывести из себя.

Абориген вдруг с достоинством отступил назад от группы наших шумно негодующих ребят и отряхнул свою полосатую хламиду. Потом сказал — и то, что он сообщил, поразило нас, как громом:

— Я знал, как решит начальник. Поэтому я послал в деревню за другим ослом. Пара-пара часов, и он приедет.

Некоторое время мы стояли, точно в столбняка. Мало того, что мы оставались здесь еще на пару-другую часов, это ерунда... но ведь мог погибнуть человек, который, пользуясь суматохой, незаметно покинул группу. Теперь он нахо-

дится где-то в пустыне, в радиусе примерно с километр, ничего себе диапазон для поисков, когда вокруг буря и песок словно взбесились...

— Вот что,— сказал Баггинс.— Сделаем так. Мы больше ждать не можем: воды в обрез, только до базы. Мы поедем. Весь караван пойдет,— он окинул взглядом толпу кочевников.— Скоро поднимется настоящий ураган, и надо помнить, что мы не застрахованы от случайностей. Но бросать здесь человека тоже нельзя. Того, кто ушел, нужно искать или ждать. Поэтому здесь останется бронеход, ну, скажем... Вуперса.

Мы с Хаскинсом переглянулись. Нам вовсе не улыбалось торчать здесь. Но поступить по-другому было невозможно. Все было правильно.

— Вы подождете два часа,— обратился к нам Баггинс,— а затем начнете поиск. Если все будет нормально, двигайтесь тихим ходом к базе. Как только мы доедем и отдохнем немного, несколько машин вернутся сюда вам на помощь. Пока на базе ни одного свободного экипажа, а то можно было бы вызвать машины для поиска прямо сейчас... Связь с нами, как обычно. Желаю успеха.

Он скомандовал ребятам, те немедленно направились к машинам. Почти одновременно зажглись фары, свет их пошел выхватывать пятнами из мрака песчаные холмы. Один за другим трогались с места головные бронеходы, за ними с криками и хлопаньем кнутов потянулся отряд аборигенов. Колонну замыкали три машины, ребята из последней помахали нам и что-то крикнули, но из-за шума двигателей слов нельзя было разобрать.

Хозяин повозки стоял возле своих вещей и смотрел, как и мы, вслед уходящим бронеходам. Потом повернулся к нам с улыбкой доверия на лице.

— Скоро поедем. Пусть начальник не волнуется.

Но для волнения были все основания. Неизвестно, что с человеком, который теперь в пути. И неизвестно еще, благополучно ли он получит своего осла, да если и получит, то и это вовсе не гарантия хорошего конца. Не гарантия.

— Кто пошел за ослом? — грозно спросил я.

— Жена моя пошла.

— Но почему?! — вышел из себя Хаскинс.— Почему ты сам не пошел?

— Жене осла по-хорошему дадут,— невозмутимо ответил абориген.

Я вдруг понял, что значит: «биться лбом об стену». Я ощутил с негодованием вопиющую несуразность жизненной логики кочевников, освоенной, однако, на вековом опыте выживания

в условиях пустынь. Главное в том, подумал я, что ни один из нас не совершил бы такого поступка. И еще в том, что я должен, обязан понять человека независимо от своих личных представлений о целесообразном и нецелесообразном, о допустимом и недопустимом. И принять единственно правильное решение.

Хаскинс сказал, что нужно немедленно ехать на поиски. Я прикинул, сколько у нас шансов не найти женщину, а повозку — потерять, и отказался. Хаскинс вспыхнул: «Ты понимаешь, ведь она может погибнуть!» А я словно заразился спокойствием аборигена, который укладывался на ночлег в своей повозке, как ни в чем не бывало. Я спросил у него, уверен ли он, что жена скоро вернется. Он, казалось, был удивлен. Конечно, вернется. Как это его жена посмеет не вернуться!

— С каким удовольствием... — мрачно начал Хаскинс, напрягая руки, но я поспешил остановить его. Не хватало мне еще такой ссоры!

— Мы выедем с рассветом. Через два часа. И никаких возражений, Хаскинс! Если она не вернется к назначенному сроку, только тогда мы должны будем начать поиск. Это приказ Баггинса. Все.

Мне легче всего было сослаться на Баггинса. Залезая в бронеход, чтобы немного поспать, я вдруг подумал, что Баггинс, возможно, поехал бы. Ведь он совершенно не рассчитывал, привыкнув иметь дело с такими молодцами, как мы, что в бурю, в вихри песка и темноту кочевник пошлет именно женщину, слабое существо. Это просто не пришло бы Баггинсу в голову, и свое решение он принимал, исходя из того, что ушел все-таки мужчина, который сумеет за себя постоять. Получалось, что я не прав. Мне следовало сейчас мчаться на ее поиски. Но, в конце концов, два часа ничего не меняют, а я чертовски хотел спать. Хаскинс остался торчать снаружи. Он о чем-то разговаривал с аборигеном. Было видно, что он собирается ждать вот так все два часа. Железный парень, подумал я с уважением и тут же уснул. Сквозь сон я слышал, как в машину наконец-то сел Хаскинс, сказал, ни к кому специально не обращаясь: «Надо ехать», — повозился и притих в углу. Окончательно засыпая, я еще подумал о женщине, но вместо того, чтобы волноваться, ощутил вдруг уверенность, что все будет в порядке, и поэтому уснул крепко.

Разбудил меня крик Хаскинса:

— Приехала! Слышишь, Вуперс,— растолкал он меня,— она приехала! Приехала же!

Я открыл глаза и сразу зажмурился от солнца, бьющего в лобовое стекло. Прямо перед

бронеходом стояла молодая женщина в синем балахоне с капюшоном, защищавшим от ветра. Она смеялась, смотрела на нас и смеялась. Я открыл дверцу, собираясь отчитать ее, но гнев мой совершенно прошел, едва я выскочил под освежающий утренний ветер и увидел, как улыбается ее юное лицо. Новый осел уже стоял, впряженный в повозку, и недовольно прядал ушами.

— А ведь она привела осла из какой-то деревни,— вдруг сказал Хаскинс.— Неужели там кто-то остался?

Из этих мест все уходило, спасаясь от песка. Мысль Хаскинса показалась мне сначала нелепой, но потом я понял, что он прав. Где-то ведь она взяла осла, значит, кто-то еще оставался здесь, поблизости, в то время как местность медленно заносилась песком. Здесь опасно было находиться, а в селении кто-то жил, и спокойно держал ослов, и спокойно наблюдал надвигающиеся сыпучие пески, не трогаясь с насиженного места. Я насторожился.

— Слушай, девочка, а где ты взяла осла? — спросил я у нее, уже чувствуя, что ввязываюсь в нехорошую историю.

В душе я надеялся, что она ответит примерно так: «тут их целое стадо пасется, и совсем ничьи...» — настолько мысль об оставшихся людях была мне неприятна. Но, конечно, я уже понимал, что люди остались.

— Здесь, во-он там,— она показала рукой,— живет один старик. Он говорит, что песок живой, и не боится его. Как только песок подойдет к дому, он с ним поговорит, и песок посыплется обратно в дыру, из которой вылез.

— В дыру? — озадаченно спросил я.

— Ну, в нору...

— Ты что-нибудь понял, Хаскинс? — сказал я.

— Я понял, что мы должны найти этого старикана и увезти его отсюда. А дыра там, понимаешь, или нора, мне совершенно все равно.

— А эти? — показал я на кочевников.

— Они доедут сами,— безапелляционно заявил Хаскинс.— Вызови базу, пусть их встречают, наверное, уже есть свободные машины.

Я вернулся в бронеход и вызвал Баггинса. Его голос был хриплым и злым: они попали в самую бурю, до базы еще ехать и ехать, а продвигаются они очень медленно. Но два бронехода с базы уже посланы к нам, так что все в порядке.

Я рассказал ему про старика. Он тихонько выругался, а потом приказал немедленно ехать за ним, забрать со всеми пожитками и расспросить хорошенько, что это за «живой» песок.

— Понял,— ответил я и махнул Хаскинсу.

Тот проводил взглядом медленно удаляющуюся повозку и полез в машину. Запуская двигатель, довольно замурлыкал.

Кончилась остановка, подумал я.

Через десять минут мы уже разыскали жалкую лачужку, полускрытую среди песчаных холмов. Старик вышел на шум мотора, приставил руку к глазам. Заметив нас, растерянно затоптался на месте, но быстро успокоился, оперся на палку и принялся с любопытством рассматривать. Он был очень старый и очень худой, одежда висела на нем мешком, кожа на лице и руках была бурой и иссеченной мелкими шрамами — следами от ударов песчинок. В глазах его светилось беспокойство, но внешне старик никак его не проявлял, стоял в непринужденной позе и был готов ко всему.

Мы подошли, и Хаскинс начал с места в карьер:

— Зачем остался здесь? Надо было идти вместе с женщиной. Мы приехали, чтобы тебя забрать. Нужно уходить в безопасное место. Собирайся.

Старик молчал. Он медленно соображал что-то свое, шевеля губами. По всему было видно, что он не понял Хаскинса.

— Куда уезжать? Зачем уезжать? — наконец спросил он.

— Все люди уходят от песка,— ответил я.— Женщина взяла осла, чтобы уехать. Она сказала, что ты остался. Ты не должен оставаться, а должен ехать. Сейчас ты поедешь с нами туда, где песок спокойный. А здесь все засыплет...

— Песок живой,— сказал старик.— Он меня послушает. Он не станет меня трогать. Это вы разрыли его нору и разозлили. А меня он не тронет. Я давно здесь живу. И никогда песок меня не трогал.

Мы с Хаскинсом переглянулись. Со стариком явно было не договориться, и я потерял терпение. Я зачерпнул ладонью горсть песка и сунул под нос старику:

— Смотри! Где же он живой? Где?

Старик покачал головой.

— Песок, который внутри, живой.

— Слышал я сказки о силикатовой жизни, но чтобы такое... — сказал мне Хаскинс тихонько. Он почему-то развеселился.

— А как же,— сказал старик.— Который внутри, он живой, и он, живой, лезет вверх. Из дыры,— добавил он.

— Погоди-ка,— сказал Хаскинс.— Который внутри, говоришь? А вдруг он о трепеле, а?

...Песок был кристаллический — и был песок аморфный. Аморфный, или трепел, более древний, залегал глубоко под поверхностью обыч-

ного кристаллического кремнезема, так глубоко, что его даже не сразу обнаружили. Трепел образовался из органических остатков местных растений, для внутреннего строения которых было характерно отложение оксида кремния в стебле и листьях. Вероятно, для прочности. Растения постепенно вымирали, так как климат становился более сухим, а их стебли гнивали, кремнезем откладывался в почве и там, на глубине нескольких метров, образовал слой аморфного трепела, занесенного сверху обычным песком. Интересно, что здешний трепел был почти аналогичен земному, образованному из наслоений скелетов некоторых древних диатомей. Почти, но не совсем. Эта бурая текучая масса поляризовалась в электрическом поле и довольно легко деформировалась. Деформировалась и текла в направлении движения отрицательных зарядов. И теперь Хаскинс подумал о местном трепеле как о возможной причине движения песка, и я понял, к чему он клонит, похоже, он свихнулся вместе со стариком, ведь трепел был глубоко и никак не мог влиять на процессы, происходящие на поверхности, возможно, целиком под действием ветра. Да к тому же здесь не было электрического поля.

А Хаскинс был уверен, что напал на след. Он принялся взахлеб расспрашивать старика о «живом» песке. Я же отошел в сторонку и молча ждал, пока они наговорятся.

— А где дыра, ты можешь показать? — лихо-радочно вопрошал Хаскинс. — Можешь, а? Слушай, Вуперс, — обратился он ко мне, — понимаешь, я думаю, если эта дыра глубокая, то аморфный песок выходит там на поверхность, а если он на поверхности, то еще неизвестно, что с ним происходит. Давай поедем, посмотрим?

— Не глупи, Хаскинс! В лучшем случае, это легенда. Я вовсе не намерен искать какую-то там дыру, когда у нас есть конкретное задание — доставить старика в безопасное место. В конце концов, команду здесь я.

— Много тут всяких командует... — ворчливо сказал Хаскинс. — Ночью командовал-командовал, теперь опять. Нет уж, хватит.

— Как ты со мной разговариваешь? — заорал я. — Смирно!

И опять мне стало неприятно, как в прошлый раз... Поймав себя на этом, я решил согласиться с Хаскинсом.

— Хорошо. Я проверю, что это за дыра. Проверю, потому что спорить с тобой бесполезно. Но на базе я подам рапорт Баггину, пусть с тобой разбирается.

— Ладно, Вуперс, кончай ты выделываться, — просто сказал Хаскинс. И посмотрел на меня.

Не люблю, когда на меня так смотрят. Но старик стоял здесь же, рядом, и при нем орать на Хаскинса мне больше не хотелось. Я демонстративно повернулся к нему спиной.

— Где твоя дыра? — спросил я старика.

— Прямо за солнцем поезжай, быстро приедешь. И не моя это дыра вовсе, — с достоинством сказал старик. — Вы ее разрыли, и песок полез наверх. Сам бы он не полез, даром что живой.

— Послушай, — тронул меня за плечо Хаскинс. — Ведь наши как раз там искали воду. И дыра — это, наверное, скважина?

— Проверим, — сказал я. И подумал: может быть, Хаскинс прав? Тогда какой же я идиот! Ведь если он прав, то мы найдем причину движения песка и сможем наконец его остановить. Сможем остановить песок!

— Поехали, — сказал я. — Ты, старик, собирайся. Сейчас мы вернемся и заберем тебя.

— Заберите оттуда свою дыру, — буркнул старик. — Ходят тут всякие...

Не слушая его больше, я бегом бросился к машине. Хаскинс уже сидел в водительском кресле. Он заговорщически подмигнул мне. Не злопамятный он парень, это хорошо. А уж не пользуюсь ли я этим? Впрочем, командир всегда прав...

Бронеход тяжело урчал, увязая гусеницами. Песок двигался прямо нам навстречу и, может быть, именно от пресловутой «дыры». Хаскинс гнал машину. Его глаза нетерпеливо блестели. Поднявшись на склон, мы внизу, в долине, заметили то, что искали. Хаскинс остановил бронеход, и мы вышли. Он вытащил бинокль, взгляделся, понимающе свистнул и передал бинокль мне.

«Дыра» была не дыра и не нора, а скорее воронка с высокими краями. И располагалась она как раз там, где пробурили пробную скважину. Воды там не нашли, хотя теперь, принявываясь, я чувствовал запах ржавчины. Я понял, что так пахнет трепел. Наши ребята вызвали джинна из бутылки. Песок по краям воронки волновался, было видно, как концентрическими кругами от ямы рассыпаются его струйки; несомненно, источник активности был скрыт там, внутри.

— Что я говорил! — сказал Хаскинс. Он хлопнул себя по коленям. — Вот влипли, а? Выходит, сами себе работу задаем! Приезжаем, разбиваем базу, все хорошо, ищем воду, бурим скважину — и на тебе! Ребятам скажи, они ведь со злости заплачут, честное слово! И все потому, что сначала делаем, потом уже начинаем думать. Мы здесь действуем по стереотипу, как у себя дома, и никакой сукин кот ученый ни в чем не

разобрался — песок и песок себе! А вот оно как получилось! Боком! — орал Хаскинс. — Ну, теперь все! Теперь-то мы поняли!

— Ничего мы не поняли, — сказал я. — Неужели от того, что трепел попадает на поверхность, остальной песок как-то активизируется?

— А почему нет? Ведь трепел попадает на свет, понимаешь? И поляризуется, чувствуешь, Вуперс? Он начинает двигаться, и теперь движется, смотри!

Он взял горсть песка и показал мне. Среди мелких зерен кварца проглядывали бурые аморфные чешуйки. Под действием света трепел лез на поверхность, смешивался с обычным песком и, двигаясь сам, двигал и его. По всем направлениям от нашей скважины.

Воронка медленно расширялась. Чем больше песка попадало на поверхность, тем больше активизировались внутренние слои. Нужно было немедленно прекратить доступ света внутрь воронки. Я прикинул размеры: ничего себе... Забросать песком, зарыть? Он тут же расползется. Вернее всего будет залить яму цементом, но где его сейчас взять?

Хаскинс, будто угадав мои мысли, полез в машину.

— Так ведь не зарыть, Хаскинс? — удивленно сказал я.

— Не зарыть, — согласился он, хлопнул дверцей и рванул машину с холма вниз. И тут я понял, что он задумал.

— Не смей! — закричал я.

Я бросился за ним.

Конечно, я не догнал бронеход. Песок из-под гусениц летел мне в лицо, я задыхался, но все же бежал за ним, как будто мог остановить. Словно в фантастическом сне я увидел, как бронеход приблизился к краю воронки, завис на мгновение и рухнул точно в центр, закупорив ее, как пробка. Хаскинс успел выпрыгнуть. Когда я подбежал, он лежал на песке.

— Хаскинс, Хаскинс! — только и мог сказать я.

Он медленно поднялся. Правая щека была рассечена дверцей, он молча вытирал кровь и улыбался.

— Хаскинс!!

— Мы его остановили, Вуперс! — тяжело дыша, сказал он.

— Да ты соображаешь, что угробил машину?! Да ты вообще соображаешь, что ты сделал? Нас теперь не найдут. Я ведь не сообщил никому, что поехал сюда, мы действовали самостоятельно, это ты понимаешь?

— Ага, — сказал Хаскинс. — До старика мы как-нибудь с тобой сегодня доберемся, а о нем

наши знают. И бронеход потом вытащим, не волнуйся. Но ты посмотри, мы же его остановили! Теперь нужно проверить все наши скважины, зацементировать — и будет порядок!

Действительно, края воронки уже замерли. Песок еще рассыпался по долине, но уже гораздо медленнее. И тут я вспомнил про надвигающуюся бурю, о которой говорил Баггинс. Нам следовало торопиться.

Мы быстро пошли обратно. Я злился на Хаскинса, но молчал. Не до того было. Здорово жарило солнце, потом подул этот ветер, и жара сменилась пронизывающим холодом. Мы шли, пока могли. До лачуги старика было еще несколько километров, когда ветер остановил нас. Он вздымал целые кучи песка, который вихрился в воздухе, бил в глаза. Мы остановились и повернулись к ветру спиной.

Хаскинс выплюнул изо рта песок.

— Нехорошо получилось, — сказал он. — И во всем я виноват, так? Но ты тоже перегнул со своей осмотрительностью, и не один раз, скажешь, нет?

Я молчал.

— Чтоб ты понимал!.. — не унимался Хаскинс. — Руки у меня чесались, когда ты не поехал за женщиной. И теперь чешутся, когда вижу, какой ты умный-благоразумный.

— У нас нет никаких оснований действовать неблагоразумно, — ответил я. — Если мы что-то не учли, недосмотрели, то расхлебывать придется самим, как видишь. И поэтому я склонен и дальше действовать по приказу, хватит вольницы.

— Ты все еще не понял, что мы остановили песок, действуя вовсе не по приказу? И что любой приказ должен быть соотнесен с обстоятельствами? Был у ребят приказ бурить скважины — бурили. И набурили! Мы здесь не дома. Здесь нужно самим смотреть, что делаешь. И как еще смотреть! — Хаскинс помолчал. — Баггинс меня поймет. И катись ты со своим рапортом... — огорченно закончил он.

Я уже и думать забыл про рапорт. Я понимал, что был неправ. Бывают обстоятельства, когда действуешь по наитию, повинуюсь внутреннему чувству, которое одно подсказывает тебе, как поступить. И бывает так, что ты стоишь перед выбором, остановился, застрял и сдуру сделал глупость. Такие парни, как Хаскинс, дают тебе понять, что ты здорово опростоволохился. Думать, думать надо! Только так...

Сквозь шум ветра донеслось знакомое гудение. Из-за гребня ближнего холма вываливали два бронехода. Они медленно подъезжали к нам.



И Дед Шукарь Тимофей Иванович

Юрий НЕМИРОВ

Какие только легенды не ходили на Верхнем Дону о Тимофее Ивановиче Воробьеве! Нашлись очевидцы, якобы слышавшие из его уст рассказ о том, как в далеком детстве он угодил на удочку старого рыбака, и с той поры верхняя губа деда Тимофея разорвана, как у шолоховского Шукаря...

Воробьев был мастер короткого юмористического рассказа, в центре которого всегда оставался сам. Большинство из этих баек забыто, а вот некоторым повезло попасть на страницы вешенской районной газеты «Большевистский Дон». Этот рассказ старика относится к концу 40-х годов:

«Мую жизнь всегда украшало шутейное слово. И когда уже посеребрилась моя борода, приключилась со мной, скажу вам, еще одна история...

А виноват в этой истории Михаил Александрович Шолохов: вывел он в своей книге деда Шукаря. И получилось еще так, скажу вам, что вроде я чисто вылитый Шукарь, кубыть с меня списан. Я ить сроду не был Шукарем. Это теперь меня многие так зовут, а все потому, что Михаил Александрович умело подметил такого старичка, дюже схожего со мною.

Я пробовал открещиваться: «Какой я вам Шукарь?» А мне отвечали: «Такого Шукаря более нет, поди, на Дону...»

Вот таким манером я угодил в герои книги.

Так что путаницы никакой не может быть: я не создал Шукаря, а Шукарь прилип ко мне. Даже старуха моя и та в нужную ей пору кличет меня Шукарем».

Такую манеру разговора не придумаешь. Действительно, Шу-

карь и есть. Но как умно и тонко разграничивает дед себя и литературный образ!

Тимофей Иванович Воробьев жил на хуторе Волоховском, которого сейчас нет в Шолоховском (бывшем Вешенском) районе. В свое время признали хутор бесперспективным, и он исчез с лица земли, изрезанный буераками, полузасыпанный песком. Его упорное наступление сдержал сосновый лес, высаженный не столь уж и давно, а то ведь приходилось Михаилу Александровичу писать в «Тихом Доне»: «...Вешенская — вся в засыпи желтопесков. Невеселая, плешивая, без садов станица. На площади — старый, поседевший от времени собор, шесть улиц расползены вдоль по течению Дона...»

Колхоз имени Буденного, в котором работал Тимофей Воробьев, объединял несколько хуторов Вешенского района. Председателем колхоза был Андрей Андронович Плоткин — несомненный прототип Семена Давыдова из «Поднятой целины».

«В нашем колхозе, — вспоминает бывший учетчик одной из

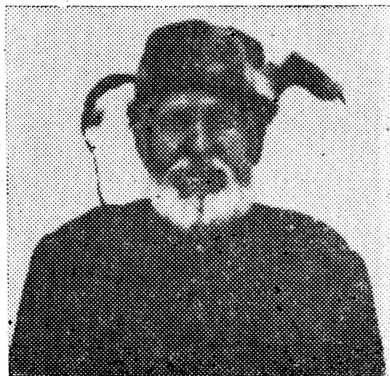
полеводческих бригад Г. И. Кочетов, — часто бывал Шолохов. Он ездил вместе с Плоткиным на линейке. Правленским кучером в те годы был старый казак Тимофей Иванович Воробьев — говорун, весельчак, острый на язык...

Михаил Александрович любил послушать острое слово и сам шутил. Особенно ему нравились байки Воробьева. Тот был штатным оратором на всех собраниях и заседаниях правления. Как-то весной, когда не все колхозники дружно выходили на прополку, Воробьев так их критиковал:

— Граждане колхозники! Вот что я хочу сказать о наших бабах волоховских: одна ихняя «нация» справно выходит в поле, а другая, супротивная, в холодочке отсиживается... Коль так сорняки сничтожать будем, в подсолнухах волки завоюют...»

Легендарная принадлежность к книжному персонажу не всегда шла Воробьеву, скажем так, на пользу. Не раз бывавший в Вешках в 30-е годы журналист И. Экслер писал: «Ходили слухи, что на этом основании он пытался даже получить от колхоза бесплатно сапоги».

К истории с сапогами, к которым, как увидим, колхоз имени Буденного не имел никакого отношения, мы еще вернемся, а пока надо признать: и в самом деле, Тимофей Иванович был не без греха. Под настроение, чувствуя особую симпатию слушателей к шолоховскому Шукарю, он мог и присочинить кое-что. Михаил Александрович и редактор его книг Юрий Борисович Лукин припомнили об этом в беседе со студентами факультета славистики Упсальского университета (Швеция) в декабре 1965 года. Цитирую по публикации «Соав-



тор — жизнь» в «Литературной газете» в июне 1985 года:

«Ю. Б. Лукин: — На Дону во многих станицах есть люди, которые совершенно убеждены, что, скажем, Кондрат Майданников в романе «Поднятая целина» написан именно с них. Как-то приехал в Москву ансамбль донских казаков, и даже одна московская газета сделала ошибку, сообщив, что с ансамблем приехал тот самый дед, который явился прототипом образа Щукаря. Фамилию даже называли: дед Воробьев. И он выступил с ансамблем, очень лихо плясал, действительно похож был на деда Щукаря, но выяснилось, что дедом Щукарем его стали называть после опубликования романа. (Смех).

М. А. Шолохов: — К этому я еще могу добавить одну любопытную деталь — к деду Воробьеву, а не Щукарю. Он крестьянин, с крестьянской хитринкой, такой смекалкой. Он приехал в Москву, он уже считал, что он Щукар, и даже показывал: вот у меня ранка на губе от крючка, и он использовал не во вред себе этот визит с ансамблем: познакомился с маршалом Буденным, получил от него какой-то подарок, вообще по-крестьянски воспользовался случаем и приехал домой страшно довольный. Потом спрашивал у меня: «Ты, дескать, не возражаешь, если я вот так еще раз поеду?» (Смех).»

Таким образом, у Тимофея Ивановича поначалу прорывалось стремление выдать себя за прототип Щукаря, но в 40-е годы, незадолго до смерти, он уже с этим не шутил, отлично понимая, что дал Шолохову лишь какую-то, пусть и яркую, броскую, но одну краску в тот многоцветный спектр, который и составил замечательный литературный образ. А тогда, в середине 30-х, он мог в самый, что называется, разгар спектакля «Поднятая целина» на сцене Вешенского театра колхозной казачьей молодежи вдруг вскочить с места в зрительном зале и крикнуть: «Дайте мне слово!»

Премьеру «Поднятой целины» этот театр подготовил в декабре 1936 года. Еще в самом начале репетиций Тимофей Иванович по-

дошел к артисту Юрию Тимофееву, которому предстояло сыграть суматошного деда, и сказал без ложной скромности: «Ты, паренек, без меня не покажешь Щукаря, я тебе подробно опишу, как было дело».

И показал, и рассказал!..

Тимофей Иванович не одобрил, к примеру, как раскрывалось в спектакле прошлое Щукаря (история с тем же рыболовным крючком или с гусаком, напавшим когда-то на деда). «Это было давно и рассказывать об этом надо как о далеком и веселом, — советовал старик. — Надо больше смеяться, тогда получится у тебя все правильно».

Юрий Тимофеев погиб под Сталинградом. Но как же не вспомнить сегодня это имя? Как не привести такие его слова из небольшой статьи «Учиться у народа», опубликованной в ростовской газете «Большевицкая смелая» в начале 1939 года:

«Не совсем отчетливо, как-то вяло представил я сцену, когда при раскулачивании Титка кобель порвал Щукарю шубу. Тимофей Иванович сделал мне замечание: «Ты этот случай не так показываешь. Тогда меня во дворе у Титка хватил такая ярость, что если бы мне попался под руку леворверт, я застрелил бы самого Титка и перебил бы весь его род. Очень был злой». Так с помощью Воробьева я сумел создать живой, интересный образ смешного неудачника Щукаря».

В предвоенную пору, под хорошее настроение, любил Тимофей Иванович надеть синюю рубашку-косоворотку, которая спускалась у него почти до колен из-под черного пиджака. Но в моем представлении Воробьев выглядит так, как запечатлела его фотокамера кинооператора из Тбилиси Антона Поликевича, приехавшего поздней осенью 1933 года в станицу Вешенскую в связи с начавшейся тогда работой режиссера Николая Михайловича Шенгелая* над неосуществленной

экранизацией романа «Поднятая целина». Зорко и хитро смотрят на нас вприщур маленькие глазки деда Воробьева. На седой голове — малахай, без которого Щукаря и представить-то трудно.

С первых дней войны Тимофей Иванович переживал за сына — бойца Красной Армии. «Колхозником-стахановцем» назвал Михаил Александрович своего давнего приятеля в репортаже с митинга, опубликованном в «Правде» 5 июля 1941 года. Вот выступление на том митинге Воробьева, приехавшего в Вешки за горючим для тракторной бригады:

«Я, участник первой империалистической войны, сейчас работаю в колхозе, не признаю ни старости, ни болезни... С утра до ночи я на скирдовании сена и призываю всех колхозников, не щадя сил, работать и помогать нашим сыновьям и внукам сражаться с фашистами. Я готов в любую минуту сменить вилы на винтовку и идти бить проклятых фашистов с таким же усердием, с каким бил их сородичей в 1914 году».

Во время войны под немцами была только правобережная часть Вешенского района. На левый берег Дона не пустили врага бойцы 197-й стрелковой дивизии генерала Запороженко. Но Вешенская все равно жестоко пострадала от двух бомбовых ударов авиации гитлеровцев. Это было 7 и 8 июля 1942 года. Погибло 150 станичных жителей. Среди них была мать писателя — Анастасия Даниловна Шолохова.

На левобережье, поблизости от хутора Волоховского, располагался саперный батальон, в боевую задачу которого входило соорудить блиндажи и дзоты на случай, если бы фашисты прорвались в Вешенскую и окрестные хутора. Командовал саперами Николай Матвеевич Грибачев — ныне известный поэт и публицист. Он вспоминает:

«Я и весь батальон перебеседовали с одним дедом, — кажется, он называл фамилию Воробьев, — который утверждал, что он и есть прототип Щукаря. Дед был сив, сухощав, словоохотлив, кажется, не испытывал неприяз-

* Постановщик кинофильмов «Элисо», «Двадцать шесть комиссаров». Отец известных режиссеров современного грузинского кино — Георгия и Эльдара Шенгелая.

ни к самогонке — ее называли «дымкой», но для «щукарства» у него все же не хватало воображения и красочности речи. Мы верили ему наполовину, наполовину же оставались в сомнении».

Так он и жил — дед Воробьев, то привлекая к себе всеобщее внимание земляков, то вызывая у них своего рода неприязнь (еще раз вспомним довоенные сапоги, а чуть позднее увидим, как была несправедлива молва). «А между тем, — пишет бывший сотрудник вешенской «районки», кандидат филологических наук М. Мезенцев, — как раз Тимофей Иванович более других мог претендовать на почетную роль прототипа героя шолоховского произведения. Он был близко знаком с писателем, не однажды рассказывал ему о своей жизни».

Охотно с этим утверждением соглашаюсь. Но кто же, однако, расскажет о Воробьеве самое главное: как свела его жизнь с Шолоховым? С чего же все началось?..

Такого человека порекомендовали мне в Шолоховском райкоме партии. Это ветеран колхозного движения на Верхнем Дону Иван Иванович Пятиков.

— Прекрасно помню Тимофея Ивановича, — говорит он. — Я работал бригадиром на хуторе Волоховском, а он у меня в бригаде. С Волоховского мы возили дрова продавать в Вешенскую. И так случилось, что один раз Анастасия Даниловна купила дрова у деда Воробьева, другой, и понравились они ей... Стал Тимофей Иванович постоянным поставщиком дровишек для Шолоховых. Ну, а так и его знакомство с Михаилом Александровичем получилось. Это был 1930 год, наш колхоз только что организовался...

По душе пришелся дед писателю, — продолжает Пятиков. — Сколько у них обо всем было переговорено!.. Правда, дедом называть его тогда было преждевременно — лет шестьдесят было Воробьеву в ту пору. Но выглядел он куда как постарше. А может, это мне, молодому казаку, просто так казалось?

И вот случай был — прямо в духе Щукаря.

Возвращается Тимофей Иванович из Вешек и говорит мне: «Ваня, Анастасия Даниловна просила еще дровец привезть. А Михаил Александрович сказывал, чтобы и ты всенепременно со мной прибыл».

Что ж, от такого приглашения не отказываются. Стали мы сами загружать. Тимофей Иванович оступился — и подошву сапога как ножом срезало. А была распутица, валенки не наденешь, что ты будешь делать, скажи, пожалуйста?.. Так в порывом сапоге он и поехал. Только старик всю дорогу меня донимал: «Ваня, как я покажусь Михаилу Александровичу, стыдобушка же?..»

Приехали, дрова выгрузили. Я к Шолохову в дом зашел, и он говорит: «Спасибо, Иван Иванович, что быков даешь нам дровишки возить. Зима-то нынче, сам видишь, какая долгая...» И спохватился: «А где дед Тимофей?»

Я про сапог сказал. Тут Михаил Александрович во двор вышел и нас за стол усадил. А потом наказал: «Ты, Иван Иванович, как домой в Волоховский приедешь, пошли письмо в Ростов директору обувной фабрики. Расскажи про беду с нашим домом...» А сам улыбается — и хитро так, весело.

И что вы думаете? Прошло недели три, и почтальон принес Воробьеву посылку, а в ней — чудесные хромовые сапоги! Думаю, что вслед за моим письмом и Михаил Александрович обратился на фабрику, а кто же мог отказать ему — народному писателю?

Ну, а в жизни Тимофея Ивановича всякое бывало. Сын его, знаю, на войне погиб... Внучка у деда осталась. А он оптимизма никогда не терял, как и доброты к людям. Так и обращался: «Хороший ты мой...»

Последний раз, думаю, виделся он с Шолоховым осенью 1948 года, когда от имени земляков приветствовал Михаила Александровича в честь 25-летия его творческой деятельности. Никто не мог это сделать лучше, чем наш всеобщий любимец — «Щукарь».

Тут Иван Иванович Пятиков, несомненно, прав: Тимофей Иванович умел «погугарить» с трибуны! Свидетельством большого уважения земляков к нему является и тот факт, что 73-летний Воробьев выступал на предвыборном собрании вешенцев в победном сорок пятом году и говорил о кандидате в депутаты Верховного Совета СССР М. А. Шолохове так:

«Если, скажем, в Москве или Сибири Шолохова знают по книгам, то нам Михаил Александрович известен и как организатор колхоза, первый друг и советчик казаков-колхозников. У нас был свой театр, и педагогическое училище, и водо-светолечебница, да и сады расцвели в станице. И во все это много труда вложил Михаил Александрович. Теперь, когда мы восстанавливаем все то, что было разрушено поганым германцем, мы всегда чувствуем помощь Михаила Александровича».

Чем же закончить этот очерк?

Хотелось бы найти такие слова Шолохова, в которых в обычной для него образной форме признавалось бы «родство» двух замечательных дедов — Воробьева и Щукаря.

И нашлись они — шолоховские слова и о деду Воробьеве! Точь-в-точь такие, о которых я думал...

А помогли мне воспоминания журналиста Владимира Гаранжина. В очерке «Вешенские встречи» он рассказывает еще об одном выступлении неугомонного Тимофея Ивановича — в 1940 году, когда в зрительном зале театра колхозной казачьей молодежи отмечалось 35-летие писателя-земляка. Выслушав речь Воробьева, которому люди внимали с таким восторгом, словно к ним прибыл подлинный дед Щукарь, Гаранжин подошел к Михаилу Александровичу и спросил:

— Что, этот старик Воробьев — настоящий Щукарь?

Шолохов рассмеялся:

— Может, и не совсем настоящий, но самый щукарный у нас в районе.

«Я ходил недавно на выставку «Сказочный мир камня» в одном из музеев Свердловска. Там было много ребят — все очень интересовались экспонатами, каждого так и тянуло потрогать их, да нас отгоняла бабуля-смотрительница... Будто мы огломять что хотели!..

Мне захотелось самому попробовать работу с камнем, что-нибудь сделать. Расскажи, «Уральский следопыт», где можно выучиться на камнереза, просто это или нет...

Сергей ПОДИНЦЕВ.
Я учусь в седьмом классе»

«Коротко Сергею трудно ответить... Сам я закончил училище ровно тридцать лет назад. Мечтал, конечно, о многом... И хотя сделал камнерезных вещей порядочно, а некоторые мои работы показаны даже в фотоальбомах, книгах, многократно демонстрировались на различных выставках, часть — закуплены музеями, частными лицами, все же, считаю, главной своей мечты я не осуществил — условий для этого не было. Помню, уже после многих лет работы на заводе захотел сделать мозаичный портрет Бажова. Даже начал — вместе с художниками-профессионалами долго работали над эскизом, прошли, можно сказать, этот важный этап. Но с камнем возгаться — Павла Петровича слово — мне так и не разрешили... Не будь у меня другого места для работы, портрет мозаичный, конечно, не состоялся бы. Я словно предчувствовал этот запрет — несколько лет, практически втайне от завода, готовил новое место. Там, в школе-интернате для глухих детей, и сейчас работаю — знакомлю ребят с камнерезным делом.

Если появится возможность какой-то крупной творческой работы с камнем, пригласю за нее даже глубоким стариком.

В. САРГИН,
камнерез, выпускник
Свердловского художественного профессионально-технического училища № 42»

ПРОСТО ЛИ

Татьяна
ВЛАСОВА,
Владимир
СТАРИКОВ

Фото на вкладке
В. Дробинина

СТАТЬ



МАСТЕРОМ?

Очень, очень давно жители горного уральского края научились обрабатывать камень, готовить из него орудия труда, инструменты. В эпоху «бронзы» использовали для этого даже претвердый кварц. Однако тонкая, художественная работа с камнем началась на Урале лишь считанные столетия назад. Так утверждали историки до последнего времени.

А недавно в одном из древних захоронений, раскопанных на территории Южного Урала, археологи обнаружили хрустальный шар, точнее — эллипсоид со сквозным отверстием.

Шар — это, конечно, уже на грани искусства! И с учетом того, что местное происхождение находки практически не вызывает сомнений, не будет ошибкой считать историю уральского камнерезного дела с начала второго тысячелетия до нашей эры (см. «Уральский следопыт», № 3—87).

Двести сорок лет назад — «января 14 дня» (25 января по новому стилю) — в Екатеринбурге впервые разрезали камень «действующей водной машиной». Машину создал и пустил Никита Бахорев, талантливый механик, сподвижник В. Н. Татищева.

В том же 1747 году, летом, уральцы отправили в Москву первую партию продукции машинного камнерезного производства. Екатеринбургская фабрика наряду с Петергофским заведением Петра I стала отправной точкой впоследствии известной всему миру русской «культуры камня» —

ремесла-искусства, удовлетворявшего не только самые смелые, но подчас и экстравагантные запросы отечественной архитектуры.

После Никиты Бахорева большой вклад в развитие уральского камнерезного производства внес Иван Суворов. Он пустил много новых станков. И все же главной заслугой Сусорова стали машины для обработки твердых пород цветного камня. 8 (19) декабря 1751 года, используя медные диски и наждачный порошок, Суворов, бывший «механический ученик», разрезал агатоподобную глыбу.

Значительно продвинули вперед, усовершенствовали уральское камнерезное производство Михаил Колмогоров (работы с мрамором), Иван Патрушев, Василий Коковин и его сын Яков (Коковины создали гамму станков и приспособлений, в частности — для «выемки внутренности», «обрески в круглость» наружной поверхности заготовок будущих уникальных ваз и чаш, а также для исполнения на них сложнейших орнаментов)...

Именно в то время, когда жили и творили эти и другие истинные мастера, уральское камнерезное искусство показало всю свою силу, а его техника и технология просуществовали (несмотря на многочисленные падения и новые взлеты самого дела) до века атомного — так они оказались совершенны.

Здесь сразу хочется подчеркнуть и следующее.

С самого начала машинное камнерезное производство в нашей стране рассматривалось его зачинателями и радетелями не только как способ ублажения царствующего дома, но, как дело большой общественной значимости: в проекте 1726 года, поданном Екатерине I, В. Н. Тати-

шев предусматривал широкое использование цветного камня «ко украшению строений... и всего русского народа»; М. В. Ломоносов, призывая в 1763 году «добираться отменных камней», предсказывал времена, когда «мраморы и порфиры, воздвигнуты будут из недр земных на высоту в великолепные здания»; выдающийся русский архитектор В. И. Баженов видел в уральских мраморах материал для сооружений, долженствующих служить «к чести века», «к утехе и удовольствию всего народа»...

Вторая половина XVIII — первые десятилетия XIX века для камнерезного дела на Урале — как момент недавней вспышки сверхновой в Магеллановом облаке. Почти внезапно — в разрезе исторической перспективы — оно поднялось на такие высоты, что и нынешние мастера, оглядываясь на предшественников, вынуждены придерживать шапки.

Безусловно, как все великие эпохи в истории развития искусств, расцвет камнерезного дела был обусловлен прежде всего техническими завоеваниями человека. Но едва ли не меньшее значение имела ШКОЛА, воспитавшая в рабочих и понимание возможностей новой техники, и художественный вкус. Повсюду, во все времена с камнем могли успешно работать только те, кто хорошо узнал его в природе, почувствовал характер и капризы каменных жил, сумел разглядеть их как бы изнутри; только тот добивался признания своего мастерства, кто в самом материале находил источник вдохновения, чья рука следовала за фантазиями каменного многоцветья, а не перечекала им.

Именно таких «каменных работников» стремилась готовить для дела уральская школа.

Приглашая на Урал мастеров-иностранцев (первым был Реф, затем — Рейнер), В. Н. Татищев обговаривал их обязанность резать и гранить камень, а также «русских учеников в том искусстве совершенно выучить».

Вообще уральские горные школы были особой заботой Татищева; как свидетельствует, основываясь на изучении архивных документов, извест-

ный уральский писатель-историк И. М. Шакинко¹. Татищев сам составлял учебные программы, выписывал книги, приборы. Здесь учили не только читать и писать, но и механике, рисованию, токарному, слесарному и пробирному делу, учили обрабатывать камни. В 1737 году Татищев ввел во всех классах в качестве обязательного предмета огранку камней — для почти трехсот учеников!

Как о фактически существовавших позднее, можно говорить о школе камнерезного дела во главе с Н. Бахоревым, И. Сусоровым, другими механиками.

На уральских мраморных разработках в третьей четверти XVIII века возникла была школа итальянцев Тортори. Братья-иностранцы кое-что показали уральцам, как вдруг наши запротестовали, обратились по начальству с жалобой: не дают Тортори развернуться!..

Фактическим руководителем мраморных работ в то время был «архитектурный помощник» Михаил Колмогоров, лучшими мастерами — Н. Яковлев, М. Горяинов, Т. Зимин. Эти-то люди и взрастили целую плеяду известных затем уральских «мраморщиков». Впоследствии дело дошло до специальной земской школы...

Естественно, как на всех старых уральских заводах, фабриках, рудниках, и при камнерезном деле с первых его шагов «крутились» дети «вечноотданных» мастеровых, сироты. Чем могли помогали взрослым, зарабатывали на хлеб, приглядываясь к делу. И — случалось нередко — попадали в беду. Тот же Иван Сусоров доносил по начальству о надобности шить для малолетних удобное платье, ибо обычные для них одеяния-лохмотья становились причиной тяжелых травм.

Путь в камнерезы-профессионалы для каждого молодого работника, а тем более для подростка, растягивался на многие годы. Тем не менее в середине XVIII века в Екатеринбурге действовали уже три камнерезные фабрики и одна — на Северском заводе. Общее число занятых на них людей составляло полторы сотни. А «на мраморе» было уже около трехсот человек.

При всем при том руководители камнерезного дела обращали особое внимание на «способность» к нему. Любое ремесло требует таланта, искусство — тем более. На первых уральских камнерезных фабриках всякого нового человека несколько

лет испытывали — «полюбят» ли его камень? Известны такие старые записи:

«...за непонятие в деле... отослан на Нижнегургинский завод в тамошние работы»;

«...за непонятие в художестве... отдан в рекруты».

И в то же время:

«Степан Уваров, Егор Портнягин, Иван Пономарев, Елисей Кузнецов, которые здесь, при гранильной фабрике, обучены художеству... каменных вещей... за понятие в деле оных награждены прибавками жалования и впредь к дальнейшему понятию надежда в них предвидится»;

«обучен... художеству по камню...»;

«каменотесное скульптурное мраморное художество знает...»;

«архитектуры скульптурное и квадратное дела знает...».

Потому, наверное, мы и говорим об уральском камнерезном искусстве как об очевидном, давнем факте: дело вели не просто рабочие, способные к резке, шлифовке и полировке камня, но люди творческие, «любимые» камнем, специально образованные.

Назначенный в 1800 году президентом Академии художеств, граф А. С. Строганов прислал в Екатеринбург учителей — обучать резному художеству», а самых способных учеников направил на учебу в Академию. В их числе оказался сын мастера фабрики Василия Коковина — Яков, сам ставший впоследствии главным мастером, автором выдающихся камнерезных произведений.

Вернувшись из Академии с золотой медалью и аттестатом первой степени, Яков открыл при фабрике школу рисования, лепки и художественной обработки камня.

Не удивительно, что в его время камнерезное дело было доведено на Урале до высшей степени совершенства, многие изделия тех лет хранятся в Эрмитаже, в других известнейших музеях как непревзойденные образцы.

Сегодня, как это ни странно на первый взгляд, Свердловское среднее художественное профессионально-техническое училище № 42, готовящее камнерезов, никаких особых условий желающим получить профессию не ставит.

¹ В. Б. Семенов, И. М. Шакинко. «Уральские самоцветы». Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.

Поступить в училище очень даже просто — и экзамен по рисунку сдавать не надо, как это было здесь же прежде (училище существует с 1945 года). Теперь достаточно иметь за плечами восемь классов средней школы. Не помеха и то, что ты вынес из школы весьма слабые знания...

В небольшой — какая уж есть — камнерезной мастерской училища, располагающей скромным набором оборудования, мы говорили с ребятами второго и третьего годов обучения. Вместе с мастерами они, кстати, напряженно готовились к очередной экспозиции детского творчества на ВДНХ-СССР, и, наверное, поэтому в общем-то немногословный третьекурсник Даниил Халдин бросил, словно атакуя, вопрос: нет ли у журналистов возможности достать лабрадорит, без которого его, Халдина, выставочная работа останется незаконченной? (Нужную плиту лабрадорита Даниил получил от нас на следующий же день: мы понимали — сроки уходят, и «пошукали» в кладовках знакомых любителей камня.) А буквально за 10—15 минут до этого разговора довелось оказаться свидетелями телефонного звонка из объединения «Уральские самоцветы». Головной завод настойчиво предлагал подопечному училищу принять на свой баланс большое количество нефрита, причем не лучшего качества — лишь бы самому избавиться от него. Камень-то дорогой, висит на шее! Похоже, звучало и предостережение такого рода: не возьмете нефрит — другого сырья не получите...

Ребята рассказали, что в общем-то каждый из них оказался в училище почти случайно: один проходил мимо — заглянул, принес заявление и документы; другого подтолкнула передача о камнерезах по «телику», третий видел где-то коллекцию полированных камней... И ни один из наших собеседников не мог сказать твердо, определенно о том, чем будет заниматься после окончания учебы. Ребята оказались единодушны в том, что никакой камнерезной перспективы у них нет.

Тот же Даниил Халдин, немало разговорившись, заметил:

— Конечно, после училища нас пошлют на «Уральские самоцветы». Но почти сразу уйдем на службу в армию, а обратно на завод едва ли кто вернется. Сам я — нет и нет. Взрослая жизнь начинается, семья будет, а на заводе сказали, чтобы мы, молодые, на жилье даже не рассчитывали...

— Я тоже о заводской камнерезной работе не думаю: ведь это — монотонность, поток ширпотреба... Совсем не интересно. Попытаюсь пробиться в Строгановское училище, — сказал Александр Швецов.

Саша из тех, кто «проходил мимо — заглянул». Тогда, два года назад, он был на грани крупной беды. Учился в школе кое-как, чаще просто не учился — не ходил на уроки. Зато цветомузыка отдавал все время. Не задумываясь о последствиях, «добывал» на железной дороге цветные светофорные линзы и, конечно, попался. Открытая для всех и каждого дверь сорок второго, как он сам считает, спасла его. Здесь, в училище, Саша вступил в комсомол, стал членом комитета ВЛКСМ, был избран делегатом на последнюю районную комсомольскую конференцию. Учится без «троек», а по всем профессиональным дисциплинам у него только «пятерки». Уже имеет бронзовую медаль ВДНХ СССР — за творческую работу, посвященную XXVII съезду партии. А для новой экспозиции в Москве подготовил мозаичный пейзаж с березкой. Невелика картинка, но труда потребовала большого — каждый мазок-камешек надо подогреть, подогнать, без изъяна.

— Зато увлекательно, — улыбается. — На заводе, хотя я там еще не был, этого не будет...

— Как, за два года ты так и не побывал на заводе?

— Нет. Не предусмотрено у нас... Зато наслышан. Потому, может, и хочется сразу сделать попытку в Строгановском. Было б здесь, в Свердловске, высшее художественное — пошел бы туда...

— Ваше, сорок второе, конечно, не ставит задачи готовить мастеров высшего класса...

— А почему не ставит?! — взорвался Швецов.

Не будем лукавить. Для нас не был неожиданным тот факт, что начинающие камнерезы уже давно «не видят» себя на рабочих местах в объединении «Уральские самоцветы». Опыт целого ряда выпускников училища говорит об этом. Где только не трудятся его питомцы — на местных стройках, на Севере, в таксопарках, конторах... Хотя практически все работники камнерезного цеха объединения в свое время закончили сорок второе, молодым там теперь «проходу» нет, тем более — на творческие работы. Двое недавних выпускников училища, «задержавшихся» в камнерезном цехе, буквально едва «на хлеб» зарабатывают. Вот их — Алексея Прядина и Юрия Аксентьева — заработки за январь и февраль: 52 и 64 рубля у первого, 62 и 60 рублей у второго. Куда только кадровые камнерезы, профсоюз смотрят: это же беда в любом случае!

И вынуждены ребята искать другое место, осваивать другие профессии.

Мастера училища рассказывали:

— И на заводе, и здесь, в родном доме, ребятам-камнерезам нет возможности развернуться. Зато учебная типография у нас создана — готовить для соседних предприятий печатников выгодно: они и телефонисты (их теперь тоже выпускает художественное училище) с практики доход приносят. Камнерезы же даже небольшой план не выполняют. На третьем году обучения предусмотрена для них заводская работа — по месяцу через каждые два месяца учебы, но... Уже на проходной встречают ребят как чужаков — втычки, презрительно называют «ремеслухой». Хотя наши мальчишки успешно выступали и выступают практически на всех всесоюзных и даже международных выставках, завод никаких серьезных дел им не доверяет, лишь позволяет шлифовать-полировать простейшие каменные «горбушки», на которые затем клеят металлических ящерок. Впрочем,

зачастую и этой работы для ребят нет: «Испортят еще!..»

— Не того боятся заводские, что наши ребята напорчат, а чтоб самим заработок не упустить. Им и без нас камнерезной работы не хватает. Вот в чем собака зарыта! — подчеркнул В. Б. Шурыгин. И добавил: — Формально лучшие рабочие завода, мастера закреплены за группами практикантов. Фактически — никакого наставничества. Нашим ребятам разрешают работать на заводе только во вторую смену, когда кадровые камнерезы уже разошлись по домам и в цехе пусто — нет даже контролеров. Только в училище и могут мальчишки заниматься чем-то интересным. А ведь это означает вариться в собственном соку, не привыкать к предстоящей серьезной ответственности... Планируют построить для нас новое здание. Но само по себе здание не изменит отношения к рабочей смене... Иногда мне кажется: завод буквально рассчитывает на то, что большинство наших выпускников камнерезами не станут.

Еще и еще раз оглянуться назад, примериться к прошлому никогда не вредно.

Да, жестока, подчас даже губительна была старая уральская школа камнерезного дела. Смотрела на каждого кандидата в работники строго: «полюбит» тебя камень — ты наш, «не полюбит» — проваливай на другие работы, в рекруты. Но, похоже, не случайно применялась именно такая формула оценки способностей и стараний человека — «полюбит ли камень». Ведь «полюбит» — значит доверится, подчинится, как бы тверд или хрупок ни был.

К тому же старая школа всегда существовала непосредственно в цехах-мастерских или при них. Она растила профессионалов, художников камня в САМОМ ДЕЛЕ.

Сегодня, хотя условия труда не в пример прежним, ничего этого нет. Завод, настоящая «взрослая» и творческая работа подросткам-ученикам просто недоступны. В лучшем случае позво-

лителен лишь каменный «ширпотреб».

Между тем генеральный директор объединения «Уральские самоцветы» В. А. Минеев называет камнерезный цех головного завода главным на предприятии: «История, слава камнерезного искусства уральцев нам не простят, если отношение к делу будет иным».

— Кое-что мы, правда, упустили, — признает генеральный директор. — Упустили прежде всего некоторые острые вопросы подготовки молодой смены. До службы в армии выпускники училища не успевают прочувствовать профессию, втянуться. Практика на заводе, конечно, мала. И получается так: после службы в армии ребята нам изменяют: ведь в памяти только вода, пыль, грязь. Практически не проводим творческих конкурсов среди молодых камнерезов завода. За последние три года, если не ошибаюсь, состоялся всего один такой конкурс, только одна творческая работа молодых пошла в серию.

Вспомнились события пятилетней давности. Тогда, точнее, осенью 1981 года в Свердловске состоялась всесоюзная (по представительству) конференция, обсудившая проблемы камнерезного искусства. Она была заключительным аккордом ретроспективной выставки, взбудоражившей сердца, умы тысяч и тысяч людей. Выступили известные искусствоведы, мастера, архитекторы, руководители учреждений культуры. Вот кратко о чем они говорили:

— Русские мастера своими произведениями влияли на нравственность народа в целом. Необходимо возродить традиции монументального камнерезного искусства...

— Нужен музей камня и камнерезного дела...

— Все камнерезное искусство Урала представлено в Союзе художников СССР только тремя членами... Три года назад республиканские органы приняли решение о создании при комбинате Художественного фонда камнерезного участка, а где он?.. Почему бы не учредить премию имени П. П. Бажова за наибольший вклад в развитие камнерезного дела на Урале?..

— Заводским камнерезам не дают хорошего сырья. Добытчик — «Уралкварцсамоцветы» — все лучшее забирает себе, превращает прекрасные камни в «ширпотреб»...

— Яков Коковин и Гаврила Нахимов один за другим делали свою знаменитую вазу почти тридцать лет. Теперь такая ваза обошлась бы в миллион рублей, ну, если учесть технические новинки, в пятьсот тысяч. Где взять заказчика-миллионера?.. Да и крупных блоков-каменей нам, заводу, не поставляют. А мы решили увеличить камнерезную часть производства в 4—5 раз и даже нашли у себя для этого 70 квадратных метров площади...

— Беречь самоцветный камень — великую ценность родной природы и народа! Не дробить на стандартные поделки для выполнения пресловутого плана! Не лепить «уголки отдыха», в стенках которых цветной камень угроблен (или, быть может, спасен во имя будущих светлых времен?!).

— Необходимо начинать с серьезного отношения к подготовке кадров, если мы хотим добиться новых высот в камнерезном деле. Мы, в училище, готовим не мастеров, а «полуфабрикат»... Нередко даже очень способные ребята не могут после училища найти нужных, благоприятных условий для утверждения своего творческого лица...

Все это говорилось, повторим, немногим более пяти лет назад! Что-нибудь изменилось?

Корр.: Как глава основного камнерезного производства на Урале что вы, Владимир Александрович, можете сказать о результатах острого выступления общественности осенью 1981 года? Кстати, мы, журналисты, так и не нашли документов конференции, хотя обращались во все инстанции. Удалось заполучить лишь черновик резолюции-заготовки...

В. А. Минеев: Да-а-а... Изменений практически нет. Взять на себя что-либо из предложенного на той конференции (я и сам выступал на ней) никто из нас не сумел, а может, и не захотел. С таким подходом к решению проблем надо кончать раз и навсегда. (Как видим, снова самокритика... И полное отсутствие конструктивного подхода. Правда, в конце ответа на вопрос забрезжил луч света. — *Ред.*) Сейчас наше объединение разрабатывает структуру обновляемого училища, чтобы превратить его в специализированный центр подготовки камнерезов и ювелиров...

Корр.: Оно могло бы стать училищем-заводом? Или даже высшим художественным училищем-заводом? О таком мечтают ребята...

В. А. Минев: Возможно... Ведь нужны именно художники-камнерезы, нужны технологи по обработке камня...

Увы, уже через несколько недель генеральный директор объединения «Уральские самоцветы» в присутствии группы ведущих специалистов и руководителей подразделений сделал поправку:

— Высшее училище мы не вытянем...

Не заинтересовались возможностью что-то существенно изменить и руководители СХПТУ № 42.

— Участвует ли ваш коллектив в разработке структуры нового центра подготовки уральских камнерезов? — спросили мы директора П. Н. Связава и его заместителя Ф. В. Мелеха.

— А что такое «структура»?

— Наверное, есть — пусть небольшой — шанс реализовать идею Уральского высшего училища камнерезного дела. Или — высшего училища прикладного искусства. С хорошей производственной базой...

— Это бред!

— ?!

— Пишущая братия должно быть: существующих помещений мало, камнерезов обижают. А мы это сами знаем. Главной проблемы вы понять не можете...

— В чем же она?

— Да — в чем? Ну-ка, ну-ка?..

— Что касается персонально ваших забот, то, наверное, в том, чтобы прекратить выпуск «полуфабриката», как было сказано вашим же мастером на конференции в 1981 году...

— Кто сказал? Назовите фамилию. Ни один из наших мастеров такого не скажет!.. Почему-то все считают, что мы обязаны готовить камнерезов мирового класса.

— «Почему — нет?!» — как спросил один из ваших учеников.

— Нам этот разговор не интересен.

Нужны ли комментарии к диалогу?

Хочется лишь заметить: и с группами ювелиров, которых готовит сорок второе, происходит практически то же, что с группами камнерезов. Абсолютное большинство девушек-выпускниц в объединении «Уральские самоцветы» не работают.

И объединение, и училище лишь на словах да бумаге заботятся о молодых рабочих.

Так просто ли стать камнерезом на Урале?

И да и нет.

Записаться в училище ничего не стоит, а вот действительно получить профессию... Трудно это сделать, когда училище сейчас работает почти на нулевой результат.

Перспектива впереди есть: для желающих стать камнерезами в Свердловске планируют построить новый центр. Но и от объединения «Уральские самоцветы», и от действующего училища зависит, каким он будет: смогут ли ребята не играть, а трудиться играючи — с сознанием причастности к большому делу, настоящей экономике, с ощущением подлинно творческого полета. Почему бы действительно не побороться за то, чтобы Урал располагал высшей художественной камнерезной школой-заводом, коллектив которой в одной упряжке с объединением мог бы участвовать в самых серьезных делах? Трудно из-за нынешней дороговизны камнесамоцветного сырья, сложности камнерезных работ рассчитывать на хозяйственную самостоятельность такой школы, но в принципе и она видится. А на первых порах высшую школу камнерезного искусства могли бы, наверное, поддержать Союз художников, Советский фонд культуры.

И последнее, очень важное. Наша страна богата самоцветами. Грядет, воистину грядет время «добираться камней», «воздвигать мраморы и порфиры из недр земных на высоту в великолепные здания» — «к чести века», «к утехе и удовольствию всего народа!». Проблема в том, чтобы у само-

цветных богатств СССР был один и действительный ХОЗЯИН.

Давно утвердилось, здравствует соображение насчет того, что камнерезное дело без ювелирного никак не выживет — фантастические доходы последнего поддерживают ладанное дыхание первого. И потому руководит камнерезами Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления (точнее — Главчасювелирпром этого министерства).

В то же время добычей камнесамоцветного сырья занимается Всесоюзное объединение «Союзкварцсамоцветы» Министерства геологии СССР.

Часы, приборы, компьютеры, кольца, сережки, кварц, планы производства товаров народного потребления — вот что заботит нынешних хозяев, но не художественное бережение камня.

Высказывалась в свое время в прессе, книгах мысль — хозяином цветного камня может стать специальный Госкомитет со своими карьерами, мастерскими-предприятиями, учебными заведениями. Эта мысль, нам думается, не только не устарела, но верна и справедлива сегодня как никогда.

Как мы ни богаты пока цветным камнем, надо помнить: природа не повторяется, каждое месторождение самоцветов — конечно, а потому уникально. Мы добыли из недр камень, который самим своим рождением предназначен для изумительной картины ли, цветка ли, чаши ли, а разрезали его на «горбушки» или выточили из него десяток-другой «тел вращения» (рюмок под спиртное!). Но подобного камня мы уже не найдем — нигде и никогда...

Ни камень-самоцвет — национальное достояние страны, ни культура камня, ни тем более судьба новых поколений камнерезов не должны оставаться в сетях потребительства, бездельной растерянности, в руках людей равнодушных!

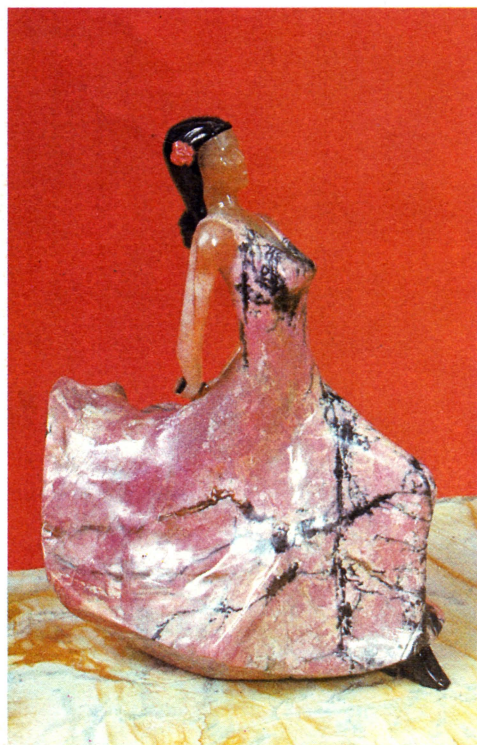
ШКАТУЛКИ И ЛАРЕЦ. 1957—1958 гг.

Родонит, яшма, нефрит, магнезит.
Коллективные изделия учащихся
СХПУ № 42, подготовленные к Брюссельской выставке. Отмечены там
Большой серебряной медалью.

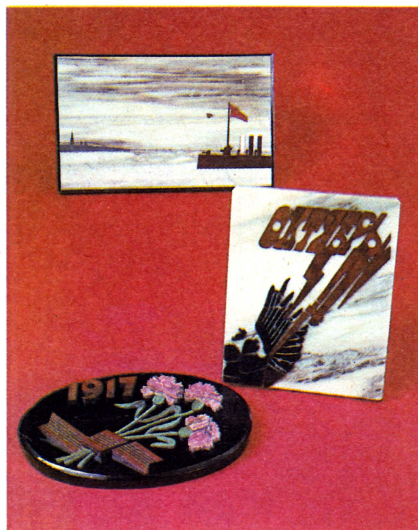




ОПЯТА — ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА. 1981—1982 гг.
 Шайтанский переливт, яшма, нефрит.
 Коллективная работа юных камнерезов СХПТУ № 42.



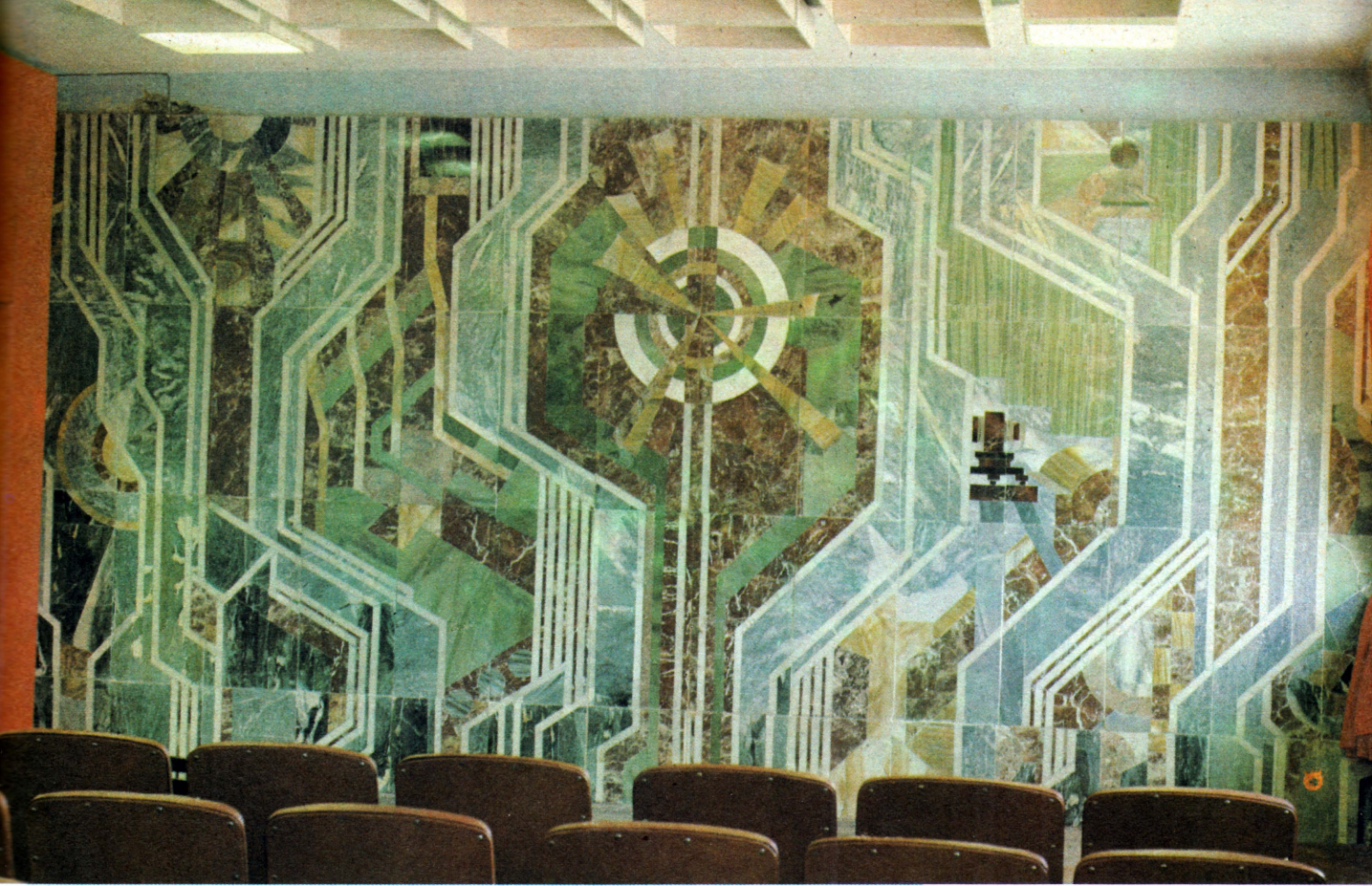
ТАНЕЦ (фрагмент). 1984 г.
 Родонит и другие поделочные камни.
 Исполнители — Евгений Васьков
 и Владимир Елисеев.



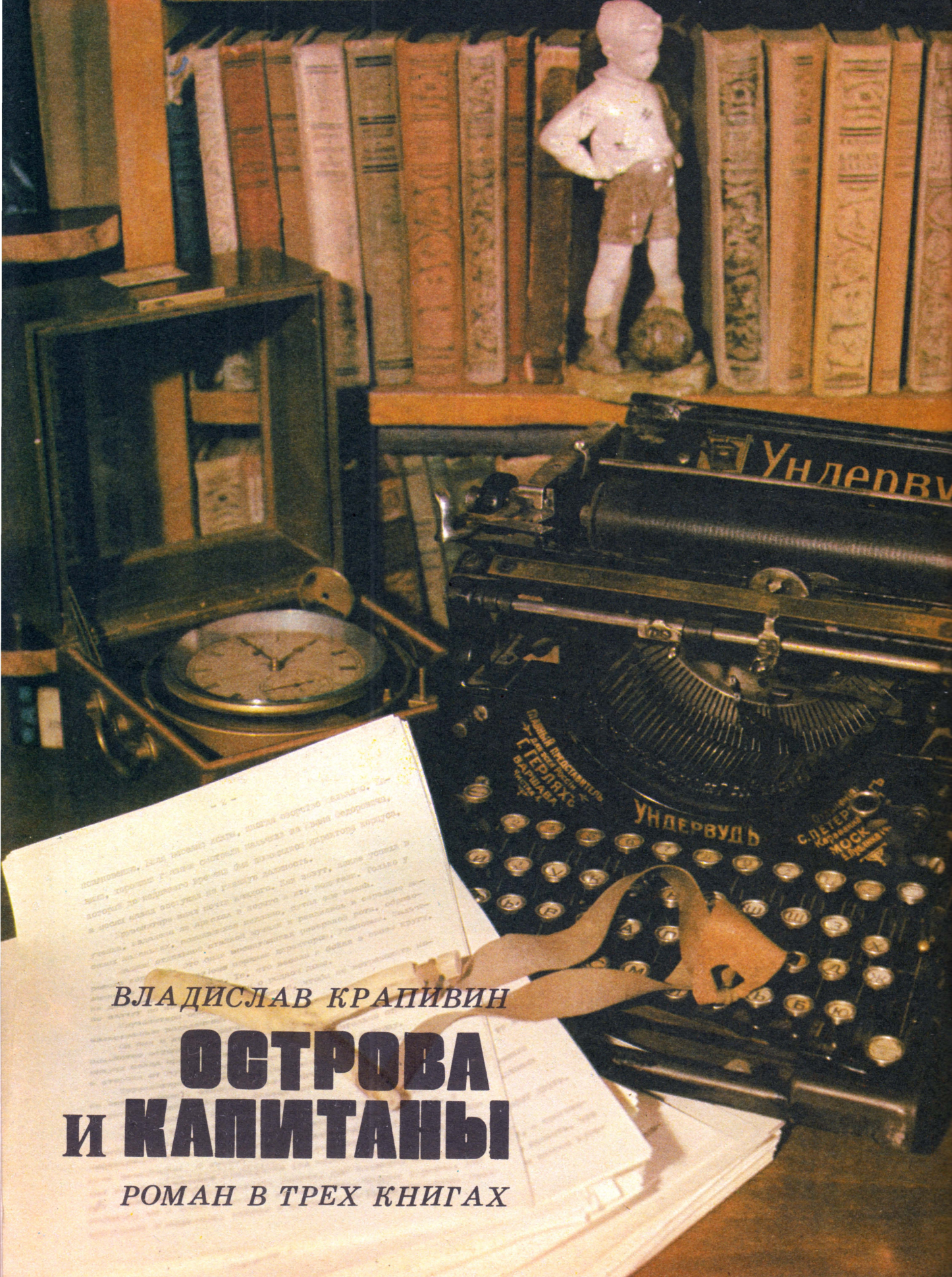
**МОЗАИЧНЫЕ ПАННО, ПОСВЯЩЕННЫЕ
 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.
 1987 г.**
 Яшма, мрамор, кварцит, обсидиан,
 офиокальцит, габбро.
 Исполнители — Сергей Аристов,
 Андрей Караваяев, Вячеслав Овчинни-
 ков.



**МОЗАИЧНОЕ ПАННО «ДАНИЛА-
 МАСТЕР». 1975 г.**
 Яшма, кохолонг, нефрит, малахит,
 кремний, аметистовая щетка.
 Исполнители — Сергей Исупов, Вла-
 димир Алексеев, Вячеслав Суханов.



Флорентийская мозаика (фрагменты) особо крупных размеров «Оптика». 1980—1981 гг.
Мрамор, яшма и другие камни (использован материал с десятков уральских месторождений).
Работа выполнена мастером-каменщиком В. В. Саргиным и его учениками Николаем Федосеевым, Иваном Горбиковым, Даниилом Стариковым в выставочном зале и зале заседаний свердловского салона «Луч».



ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН

ОСТРОВА И КАПИТАНЫ

РОМАН В ТРЕХ КНИГАХ

КНИГА ПЕРВАЯ

ХРОНОМЕТР

(Остров Святой Елены)

Рисунки Евгении Стерлиговой



Клятва Шурки Ревского

Выхода не было.

То, что Олег и вся компания могут посчитать его трусом, Толика не очень волновало. Хуже, что и сам про себя он будет думать так же, если не выполнит обещания. А от себя не спрячешься.

А если пойдет, какие еще испытания устроит пленнику компания, которая называет себя «отряд» и «робингуды»?

Может, взять Султана? Но сразу скажут: испугался один-то идти...

А может, ничего страшного не будет? Вроде бы неплохие пацаны. Конечно, гонялись, в плен брали, допрашивали, но это потому, что он не из их компании.

В том-то и дело, что не из их...

Интересно бродить по незнакомым переулкам и делать открытия, но все один да один... Толик теперь чувствовал, как наскучался он за две недели каникул без друзей-приятелей.

Но откуда он взял, что отряд Олега захочет принять к себе мальчишку с дальней улицы? Пока они его чуть ли не шпионом считают. Допрос готовят... Ну и пусть!

Робость и гордость перепутались в Толькиных чувствах. И жутковато было, и любопытно. От всех переживаний рубчик под коленкой чесался почти беспрерывно. Толик с нетерпением ждал вечера. Олег сказал: «В восемь часов...»

В семь пришла мама.

Вопреки ожиданиям Толика, мама не высказала восторга, когда узнала о рукописи Курганова. Даже известие, что Арсений Викторович сделал стихи Толика эпиграфом, ее не тронуло. Мама сухо спросила, с каких пор Толик стал решать за нее вопросы на счет работы.

Толик упал духом.

— Я думал, ты захочешь. Ты же раньше всегда ему помогала... Он книжку написал, а ты...

— Я, конечно, напечатаю. Но не нравится мне твоя излишняя самостоятельность. Лучше бы ты тра-

тил ее на домашние дела. Пол не метен, посуда не мыта, а я и так кручусь...

— Ма-а, я все сделаю!

— Сделаешь ты... За собой-то последить не можешь. Посмотри на себя: исцарапанный, перемазанный, на майке дыра...

— Ма-а, я зашью!

— Воображаю... И еще имей в виду: будешь мне раскладывать копирку. Сколько экземпляров просил Арсений Викторович?

— Д.. три. А ты сегодня начнешь печатать?

— Может быть, мне бросить все дела? У меня в машбюро полно работы, сегодня приду после десяти...

Ну, что же, это было даже хорошо. Не придется объяснять, куда это он вечером «смазал пятки».

...И вот опять Уфимская улица и зеленый двор, где стоит большой дом с застекленной верандой.

Никто не встретил Толика, никто не окликнул, когда он шел через двор. Лишь воробьи шастали в рябинах... Вот в закуток между забором и сараем...

Штабной навес оказался построен заново. И вся компания была здесь. Кроме Шурки...

Невысокое уже солнце светило через забор, и тень от навеса лежала на траве. Толик молча встал на границе этой тени.

— А, пришел все-таки, — добродушно сказал Мишка-стрелок. — А мы думали...

— Ничего мы не думали! — жизнерадостно возразил Рафик. — Я говорил, что придет.

— Я тоже говорил, — серьезно подтвердил Витя. — Почему не прийти, если человек не боится?

До этой минуты ощущал Толик под сердцем замирание, а в желудке холодок. А сейчас отпустило.

— Я же обещал, что приду.

— Ну, ладно, — снисходительно отозвался Олег. — Ты все-таки давай расскажи, что за человек и откуда... Ты садись.

Толик присел на ящик.

— Ну... я с Запольной человек, — начал он и сам улыбнулся такому началу. И ребята улыбнулись. Люся спросила:

— Протокол-то писать?

— Не надо, пусть так рассказывает, — решил Олег. — Ты что в наших краях делал, если сам с Запольной?

И Толик рассказал, как делал для себя открытия.

Начало см. в № 5 и 6.

— Ха! Какие тут открытия, каждый закоулок давно обшарен, все давным-давно знакомо,— сказал Семен.

— Это для вас знакомо... Вот когда Крузенштерн приплывал на дальние острова, их жителям тоже все было знакомо, а для него-то было неизведанное.

— Кто приплывал? — удивился Рафик.

— Крузенштерн,— сказал Олег.— Знаменитый русский мореплаватель.— И обратился к Толику:— А ты что про него знаешь?

— У меня книжка есть...— Про повесть Курганова Толик не сказал. Иначе получилось бы, что болтает о чужих делах.

Но ребята и без того вспомнили о кургановской папке.

— А что это за бумаги ты тогда тащил? — подозрительно спросил Мишка.

— Секретные документы? — подскокил Рафик.

— Да это работа мамина, для перепечатки... Ну, неужели вы по правде думаете, что это про ваш отряд сведения?

Конечно, никто так не думал, и все опять рассмеялись.

— И Шурку вашего я ни про что не расспрашивал,— добавил Толик.— Я и не знал про вас тогда...

— Это понятно,— покладисто сказал Олег. И строго прищурился.— Но с Шуркой мы все равно должны разобраться до конца. Хватит с ним возиться.

— А его опять нет! — вмешалась Люся.— Было ему сказано: к восьми, а он...

— Еще, наверно, нет восьми,— заметил Толик.— Я раньше, чем надо, пришел...

— А вон и Шурик,— сказал Витя.

Шурка вбежал под навес и сразу встал по стойке смирно — запыхавшийся и привычно виноватый.

— Явился красавчик,— усмехнулся Олег.

— Я не опоздал,— быстро сказал Шурка.

Олег усмехнулся снова:

— Раз в жизни... Завтра по такому случаю снег пойдет.— Он утомленно обвел глазами ребят: — Ну, вот что, робингуды. Пора с Шуркой решать окончательно. Возимся, возимся...

— Я же не выдавал никаких тайн...— полупшепотом проговорил Шурка. Задергал на груди галстук матроски и тут же испуганно опустил руки.

— Он не выдавал,— подтвердил Толик и подумал: «Сейчас скажут, чтобы не совался...» Но Олег сказал другое:

— Не в тайнах дело. И не в сегодняшнем случае, а вообще... Ты, Шурик, нестойкий человек...

— Почему? Я стойкий...— совсем шепотом отозвался Шурка.

Все, кроме Толика, засмеялись. Но негромко и без веселья. Люся сказала:

— Твои грехи записывать, дак никакой тетрадки не хватит.

«А зачем их записывать?» — подумал Толик. И Шурка еле слышно спросил:

— А зачем записывать?

— Затем, что без этого их не сосчитать,— весело хмыкнул Рафик. А Семен посопел и угрюмо напомнил:

— Вчера, когда мы на Черной речке футбол гоняли, ты посреди игры домой смотался.

Шурка, не глядя на него, сказал:

— Сами же говорили, что от меня никакой пользы...

— Все равно команду в игре не бросают,— проговорил Витя и вздохнул, словно жалея Шурку.

— А если я маме обещал, что к шести часам домой приду...

— Ну и сидел бы с мамой на печке,— зевнув, заметил Мишка.

— А если я обещал, а потом не выполнил, тоже получится, что нестойкий...

— Если обещал, надо выполнять,— рассудил Олег.— Да только, прежде чем обещать, думать надо. Зачем было говорить, что придешь к шести?

— Иначе меня совсем бы не пустили...— Шурка опустил голову так низко, что тюбетейка едва не сорвалась с пружинистых кудряшек. Он схватился за нее и опять встал прямо.

— «Не пустили бы»... Вот она твоя стойкость,— печально подвел итог Олег.— Нет, ребята, по-моему, хватит. Однажды он так подведет, что всю жизнь беду не расхлебает...

У Шурки шевельнулись губы:

— Не подведу я...

— Выгнать да и фиг с ним,— скучно проговорил Мишка.

— А кто фотографировать будет? — напомнил Витя.

— Да он и с фотографированьем со своим всегда вольнуку тянет,— заметила Люся.

— Зато карточки хорошие,— возразил Витя.

Олег сказал:

— Карточки и правда хорошие, но это не причина, чтобы оставлять в отряде, если человек ненадежный... Ты, Шурка, может, для обыкновенной жизни еще кое-как годишься, но для робингудовской — никак... Я предлагаю Шурку Ревского из отряда «Красные робингуды» исключить.

Шурка вздрогнул так, что тюбетейка над кудряшками подскочила. Он переглотнул, замигал, спросил тоненько и удивленно:

— А я... тогда куда денусь?

Все смотрели мимо Шурки. Олег уже другим голосом проговорил:

— Вот и я думаю: куда ты денешься?

Витя помахал ресницами и нерешительно предложил:

— Может быть, еще одно последнее предупреждение?

Мишка Гельман коротко засмеялся и сплюнул.

— Сколько их было — последних-то,— сказал Олег.— Тут надо другое... Если уж оставлять, пускай даст страшную клятву.

Шурка с готовностью предложил:

— Я могу кровью подписать.

Мишка опять засмеялся. Семен обстоятельно разъяснил:



— Нельзя. Будешь палец колоть — в штаны напустишь.

— Семен! — строго сказала Люся.

— Нет, надо другую клятву, — решил Олег. — Если уж оставлять его, пускай пройдет испытание огнем и водой. И если такую клятву нарушит, не будет ему прощенья... Шурка, ты согласен?

Шурка быстро закивал и наконец уронил тюбетейку.

Семен притащил от колонки ведро с водой. Мишка на лужайке перед навесом развел маленький костер из щепок и газет. Витя и Люся прикатили от поленицы два бревнышка и на них положили концями длинную доску. Получился гибкий мостик. С одной стороны, в метре от мостика, потрескивало пламя, с другой стояло ведро. От забора к навесу протянули веревку. Через нее перекинули шпагат и подвесили на нем кирпич. Другой конец шпагата привязали внизу к доске...

Все делалось слаженно, и Толику ясно стало, что эта операция придумана заранее. Для Шуркиного перевоспитания. Толик совсем уединился в этом, когда Олег достал из кармана листок:

— Вот тут клятва написана...

Один Шурка ни о чем не догадывался. Покорный и счастливый, что все-таки не исключили, он молча следил за приготовлениями, которые Толику казались жутковатыми.

Толик испытывал замирание, словно у него на глазах готовилась казнь. Но возмущаться и вмешиваться ему в голову не приходило. В этом дворе действовали свои законы. В непреклонности робингулов было что-то привлекательное. Толик чувствовал, что если и его заставят пройти испытание огнем и водой, он не сможет протестовать. Подчинится с ощущением сладковатой покорности, под которой шевелится теплый червячок любопытства...

Из дома принесли темную косынку, завязали Шурке глаза. Поставили его на середине тонкой доски — доска пружинисто прогнулась и задрожала под легоньким Шуркой. Кирпич висел прямо над его головой, почти касался тюбетейки.

Мишка подбросил в костер щепок, пламя взметнулось. Видно, Шурке припекло ноги, он быстро затоптался, доска закачалась. Привязанный к ней шпагат задергал кирпич — тот слегка тюкнул Шурку по макушке. Все засмеялись, но Олег строго сказал:

— Тихо!.. Будешь приплясывать и дрожать от страха — получишь камнем по башке. Или свалишься — не в огонь, так в воду. Стой смирно и повторяй слова клятвы. Если дрогнешь — значит, у тебя в характере нечестность. И клятва будет недействительна.

Шурка прижал к бокам согнутые локти, вцепился в лямки штанов и замер, как парашютист перед прыжком.

Все встали в шеренгу (лишь Толик чуть в стороне). Олег раздельно заговорил:

— Клятва... «Я, Александр Ревский»... Повторяй!

Шурка сипловато и торопливо повторил. И повторил дальше:

— «Клянусь огнем, водой и небесными камнями... что никогда не подведу отряд «Красные робингуды»... Не выдам тайны, не испугаюсь опасности, не нарушу обещания... А если изменю этой клятве, пускай меня сожжет огонь... поглотит вода... раздавит камнепад...»

Шурка повторил последние слова и нерешительно спросил:

— Все?

— Все, — слегка разочарованно сказал Олег. Он мигнул Мишке, и тот с размаху вылил в костер воду.

Взлетел шипящий столб пара и пепла — будто джинн вырвался из кувшина. Шурка вздрогнул, кирпич опять клюнул его углом в тюбетейку. Шурка присел, но с доски не соскочил.

— Ладно, — вздохнул Олег. — Кажется, выдержал...

Косынку сняли. Шурка счастливо размазывал по щекам попавшие на лицо брызги и чешуйки пепла.

Олег посмотрел на Толика, словно говорил: «Вот такая у нас жизнь». И спросил:

— Ну, что? Хочешь в наш отряд?

Толик торопливо кивнул.

Семен сказал недовольно:

— Пускай тогда такую же клятву даст.

— Ему-то зачем? — добродушно отозвался Олег. — Видно ведь и так, что человек надежный.

Замечательная жизнь

С этого дня время полетело неудержимо и весело. Утром Толик спешил в огряд «Красные робингуды».

Отряд назывался так не оттого, что в нем занимались стрельбой из луков.

— Просто потому, что мы за справедливость, — объяснил Олег. — Робин Гуд всегда за справедливость сражался. А почему «красные», и так ясно. Не разбойники же мы, а пионеры.

Название придумал Олег. Он почти все придумывал сам, потому что был командиром. Толику он казался похожим на Тимура. Только Тимур — это все-таки из книжки и кино, а Олег вот он, рядышком. И, может, не такой уж он героический и безупречный, но дела затевал всегда увлекательные и командовал справедливо.

Дисциплина у «Красных робингулов» была твердая и одинаковая для всех. Подчиняться ей было интересно. И Толик без обиды отсидел на «гауптвахте» час ареста за то, что однажды опоздал в штаб к назначенному сроку. Гауптвахта помещалась недалеко от штаба, у забора. Это была очищенная от лопухов и отгороженная колышками с бечевкой площадка. Крошечная. Посреди нее стоял чурбак для арестанта. Справедливый Олег сам один раз сел на него за вспыльчивость: не сдержавшись, он хлопнул по шее бесполового Шурку, когда тот два раза подряд закинул в чужой двор мячик.

Треснув расстроенного Шурку, Олег вздохнул, сказал ему «извини» и объявил, что садится на полчаса.

Арестованные не очень скучали: им разрешалось

разговаривать с остальными робингудами. Но это если простой арест. А если строгий, приходилось молчать и стоять у забора «пятки вместе, носки врозь, руки по швам». Но строгий арест случился только один раз, да и то для Шурки. Шурка обещал сделать снимки для отрядного дневника, но вовремя не напечатал, потому что, балда такая, разлил дома провячитель на бархатное покрывало, которым вздумал зашторивать окно. Конечно, ему влетело от матери, какие уж тут фотографии...

Толику было жаль Шурку, но Олег сказал, что робингуд Ревский виноват сам: нельзя всю жизнь быть растяпой.

Шурка на командира не обиделся. Он считал Олега самым справедливым человеком. Потому что Олег научил Шурку ездить на велосипеде, стрелять из рогатки, сдерживать слезы при ушибах и ссадинах и не очень бояться драки с одинаковым по силе противником. А перед теми, кто сильнее — в школе и на улице, — Олег за Шурку заступался и взамен не требовал никаких услуг. «Только чтобы ты не был такой размазней».

Но Шурка все-таки оставался размазней, хотя и симпатичной. На всех он смотрел своими ясными зеленовато-желтыми глазами честно и бесхитростно. Со всеми был откровенным. Его спросят: «Шурка, зачем ты таскаешь летом тяжеленные ботинки?» А он: «Мама босиком не разрешает, а от сандалий, она говорит, развивается плоскостопие. А ботинки приучают к дисциплине, потому что их надо чистить и аккуратно шнуровать». Или еще: «Шурка, спорим, что испугаешься пойти по жерди от забора до крыши». А он: «Нет, я пойду, если надо, но я обязательно свалюсь, я еще не выработал иммунитет против боязни высоты». Вот такие фразы он иногда произносил. Видимо, научился у папы. Шуркин папа был адвокат. Чтобы защищать в суде преступников, надо уметь говорить умные и хитрые речи.

Толик один раз спросил у мамы: зачем адвокаты защищают преступников, если те все равно виноваты? Мама сказала, что не все, кого судят, преступники — случается, что человека обвинили напрасно. А бывает, что вина есть, но не такая большая, как сперва кажется. Вот адвокат и помогает разобраться.

Толику иногда казалось, что Шуркина вина во всяких происшествиях не такая большая, как говорит Олег. Но статья Шуркиным адвокатом Толик не решался. Во-первых, Олегу виднее, они с Шуркой по соседству с младенчества живут. Во-вторых, в отряде «Красные робингуды» слова командира не обсуждались. Не принято было. Вся компания Олега слушалась, потому что уважала.

Компания была все та же, с которой Толик познакомился в первый день. Кроме Олега и Шурки — Мишка Гельман. Рафик Габдурахманов, Витя Ярцев да Люся и Семен Кудымовы.

Семена все звали полным именем, вид у него был солидный, но характер такой: что скажешь, то и сделает, а сам не догадается. Люся гораздо живее брата была и любила поведничать.

У Рафика было полное имя Рафаэль. Не татар-

ское, а скорее — итальянское. Но он был «чистокровный» татарин, он сам так сказал однажды, когда объяснял, почему светловолосый и с синими глазами.

— Мои родители не из здешних татар, они до войны сюда из Казани приехали, а там много таких светлых...

Родителей Рафика Толик несколько раз видел. Они были пожилые, морщинистые, всегда ходили вместе и ласково здоровались с ребятами. Неважно говорили по-русски. А у Рафика лишь иногда проскакивал татарский акцент — при сильном волнении.

Жили Габдурахмановы в приземистом домишке на той же Уфимской улице. Толик однажды зашел к Рафику и буквально глаза вытарашил: всюду на стенах были разноцветные рисунки. Многобашенные дворцы и терема, гномы в пестрых колпаках, всадники в старинных одеждах и диковинные звери.

— Сам рисовал?

Рафик кивнул смущенно, без привычного озорства.

— Наверно, тебя не зря Рафаэлем называли, — сказал Толик, водя глазами по картинкам. — Был такой знаменитый художник.

— Знаю... Я читал. Только меня не из-за этого, а просто так...

Рафик много читал. И в школе был почти отличником, это Витя Ярцев сказал, он учился с Рафиком в одном классе.

А сам Витя был «окончательный троечник», хотя по виду очень напоминал отличника: вежливый такой и аккуратный. «Ему силы воли не хватает, — сказал как-то Олег. — А так он хороший человек, только чересчур добрый...»

Зато у Мишки Гельмана воля была что надо. Он даже и Олегу-то не слишком подчинялся. Не то чтобы спорил, а просто пожмет плечами, оттопырит губу и делает по-своему. Не всегда, конечно, а если в чем-то крепко не согласен. Впрочем, с Олегом они не ссорились. Потом уже Толик почувствовал, что Олег словно побаивается скучновато-независимого Мишки и поэтому не командует им как остальными...

В общем непохожие друг на друга были люди робингуды, но компания составила дружная. И Толик недолго чувствовал себя новичком.

Дела у робингудов каждый день случались разные. Но всегда интересные. Например, собрали коллекцию минералов и устроили в штабе выставку. Гор и месторождений поблизости не было, но в пяти кварталах от Уфимской, на окраине Новотуринска, прокладывали рельсовую ветку и навезли туда кучи камней и щебенки. Лазишь по этим гудам — и будто ты среди настоящих скал и осей. Можно набрать осколков разного гранита с искорками слюды, кварца, похожего на мутный хрусталь, разноцветных полевых шпатов, серых камушков с вкраплениями медного колчедана. И еще всяких пород, названий которых не знаешь (Олег потом определит)...

Были, конечно, и всякие игры: в лапту, в штан-дер, в разведчиков, в «попá-гоняла».

Один раз отряд организовал настоящую тимуровскую работу. Соседской старушке привезли дрова, и «красные робингуды» лихо перетаскали их во двор

и сложили в сарае. Потому что Олег решил: «Хватит прыгать и бездельничать, надо людям показать, что от нас и польза есть». Правда, тайного дела, как у Тимура, не получилось, бабка находилась тут же и руководила укладкой, а потом одарила работников карамельками. Но Олег сказал:

— Главное не тайна, а результат... Пошли купаться!

Купались на «Военке». Так называлось место на Черной речке. В недавние годы войны неподалеку стоял учебный полк, и бойцы построили на речке плотину, получился пруд. На плоской травянистой площадке у берега полк иногда разворачивал громадные брезентовые палатки для летней бани. От тех времен и осталось у пруда название. Сейчас в нем купались мальчишки с окрестных улиц. На береговой площадке хорошо было гонять мячик. Иногда, правда, мяч (особенно, если бил по нему Шурка) летел в воду или в теток, полоскавших на мостках белье. Тетки громко, но не очень сердито кричали на ребят и с размаху лупили по воде мокрыми рубашками и полотенцами...

В бесконечно длинном солнечном июле случались и дождливые дни. Тогда робингуды собирались на пустой застекленной веранде Олегова дома. Играли в лото, в домино, а то и в подкидного. Или рассказывали всякие истории. А бывало такое настроение, что пели под шорох дождя песни: «Прощай, любимый город», «В атаку стальными рядами», «Варяга» и печальную песню о пограничнике, который погиб, когда один отбивался от врагов... Собственно говоря, пел один Витька, а остальные просто подтягивали. Голос у Витьки был такой чистый и звонкий, что иногда просто в глазах щипало. Особенно если запоем: «Вот и пришлось на рассвете ему голову честно сложить...»

Иногда приходила молчаливая Олегова мама в длинном халате. Улыбалась ребятам, ставила на табурет чайник, блюдец с сахаром и тарелку с сухарями или бутербродами.

В середине дня подкатывала к воротам забрызганная голубая «эмка» — это приезжал на обед старший Наклонов. Он был начальником какого-то треста.

У всех, кроме Мишки Гельмана, были отцы. Толика это удивляло. В классе, где учился Толик, больше чем у половины ребят отцы не вернулись с войны. А здесь, у робингудов, только и слышишь: «отец велел», «папа обещал купить», «это папин фонарик был, он мне его насовсем отдал»... Толик не завидовал. Радоваться надо, что робингудам в жизни так повезло. Но иногда скреб его по душе горький коготок.

Война есть война, от отца осталась только довоенная фотография да воспоминания о скрипучей португее и шероховатой гимнастерке со звездочкой на рукаве. Но может быть... может быть, мама и Дмитрий Иванович наконец по-настоящему полюбят друг друга и решат пожениться? Раньше Толика царапала мысль: а не будет ли это изменой отцу? Потом он решил, что не будет. Измена — это если бросают живого. Вот как, например, на той квартире, где они с мамой жили раньше. К соседке тете Клаве

вернулся из госпиталя одноногий муж, а она ему: «Куда ты мне такой? У меня другой есть, с руками-ногами...» Если бы отец вернулся хоть какой, хоть совсем искалеченный, для Толика, для мамы, для Вари было бы такое счастье... Но что теперь делать, раз его нет? А Дмитрий Иванович хороший человек. Если бы они с отцом воевали в одном полку, то могли бы стать боевыми друзьями...

Или если бы мама познакомилась получше с Арсением Викторовичем... Но нет, он старый, мама за него не пойдет...

Несколько раз Толик забегал к Арсению Викторовичу. Тот радовался, угощал чаем. Однажды Толик пришел, когда Курганов регулировал хронометр. Отверточкой поворачивал медные цилиндрики на балансирах. Он доверил Толику подержать в ладонях тикающий механизм. Сердце хронометра стучало доверчиво и ласково, даже с каким-то мурлыканьем. С такой доверчивостью сидит на руках у знакомого человека соскучившийся котенок.

Толик улыбнулся про себя и не стал пока рассказывать, как сам ставил точное время и запускал хронометр. Нет, он не боялся, что Курганов рассердится или обидится. Просто хронометр и Толик словно договорились сейчас: пусть у них двоих будет своя тайна...

Курганов спросил:

— Ну, а как там... мое творение? Печатается?

— Конечно! Уже больше половины готово!

Мама теперь была в отпуске, поэтому печатала рукопись Курганова каждый день. Утром, прежде чем умчаться к робингудам, Толик прокладывал копиркой чистые листы. Три листа, а между ними две копирки — и так двадцать раз. И возвращаясь вечером домой — набегавшийся, накупавшийся, обжаренный июльским солнцем, с гудящими ногами и привычно ноющими параличами, Толик знал, что его сегодня ждет еще одна радость: двадцать новых страниц с рассказом о плавании «Надежды». И бухнувшись в постель, он читал о приключениях на Нукагиве, о гневных стычках Крузенштерна и Резанова, о страшном тайфуне у берегов Японии, когда матрос Курганов спас двух товарищей, о неудачных переговорах Резанова с японскими чиновниками, о встрече моряков с жителями Сахалина...

Мама печатала иногда и по вечерам. Ей тоже нравилась повесть Курганова, и она говорила, что работает с удовольствием.

Машинка у мамы была старая. Даже старинная. Называлась «Ундервудь». Мама купила ее перед войной в комиссионном магазине. На машинке были клавиши с буквами, каких теперь и не встретишь. Например, «и» в виде палочки с точкой и «ять», которая похожа на твердый знак, но читается как «е».

От старости звук у клавиш сделался дребезжащий. Когда мама торопилась, машинка словно захлебывалась, и в звонком стрекоте пробивалось какое-то бульканье. Этот голос машинки был знаком Толику с младенчества. Она казалась ему живой. Ну, скажем, такой же, как Султан. Или... как хронометр.

Конечно, Толик любил машинку. И умел печатать на ней, хотя гораздо медленнее, чем мама, и с ошибками.

А один раз Толик даже отремонтировал машинку. Снизу к ней была привинчена плоская деревянная подставка (наверно, чтобы механизм не рассыпался от древности), и вот случилось, что один винт выкрутился и потерялся. Толик нашел в своих запасах новый болтик и туго ввинтил его в гнездо.

При этом он заметил интересную вещь: подставка, оказывается, не из сплошной доски, а из двух тонких, как фанера, досочек с прокладками из реек по краям. С края подставка рассохлась, Толик подковырнул ногтем и вытянул боковую рейку. Открылась темная щель: подставка была внутри пустая. Можно засунуть, например, тетрадку или тонкую пачку бумаги. Тайник!

Толик сперва хотел сказать про тайник маме, а потом раздумал. Решил, что спрячет туда запас копирки. Однажды копирка у мамы кончится (такое порой случалось), тогда Толик откроет свою тайну. Мама удивится и обрадуется.

Но в эти июльские дни копирки хватало. И случилось так, что удивилась мама по другому поводу. И не обрадовалась, а устроила Толику нахлобучку.

Он прибежал в середине дня, чтобы перекусить. С ходу чмокнул маму в щеку и спросил, нет ли молока, потому что пить и есть хочется одинаково. И наткнулся на нехорошее молчание.

— Ну чего? — сказал он. — Я же все сделал, что ты велела. Копирку разложил, воды принес два ведра. Эльзе Георгиевне за хлебом сбегал...

Глядя поверх Толика, мама проговорила:

— Иду я сегодня с рынка и встречаю Арсения Викторовича. «Здрате — здратате». «Как дела?» — «Прекрасно, скоро закончу печатать...» — «Ах как замечательно! Пусть тогда Толик первый экземпляр сразу принесет, а второй — когда прочитает...» — «Хорошо. А тре...» — И тут я прикусила язык. Анатолий, сколько экземпляров просил сделать Арсений Викторович?

Толик почерневшей пяткой зачесал рубчик под коленом.

— Ну... это...

— То есть третий экземпляр ты решил «заказать» для себя?

— А чего такого... — пробормотал Толик, запылав ушами. — Жалко, что ли?

— Объяснять еще надо, «чего такого»? Во-первых, ты мне бессовестно наврал! Во-вторых, без разрешения автора хотел присвоить экземпляр произведения!

— Я же не без разрешения! — отчаянно сказал Толик — Я бы потом спросил! А если нельзя, отдал бы ему все три!

— Это ты сейчас так говоришь.

— Нет! Честное робингудовское!

— Это что еще за новая клятва?

— Ну... это наша, у ребят. Ну, честное пионерское!

— Спрашивать надо было раньше, а не после времени.

— Я думал, что можно и потом...

— Он «думал», — уже не так строго проговорила мама. — Я вот тоже думаю: всыпать тебе, как я давно собираюсь, или засадить на неделю дома, чтобы помнел?

— Ма-а... Лучше уж всыпать, — весело сказал Толик, поскольку гроза явно рассеялась. — А сидеть дома — это же с ума сойти! Каникулы такие короткие!

— Ты у меня когда-нибудь в самом деле дотанцуешься... Чтобы сегодня же все рассказал Арсению Викторовичу, ясно?

— Так точно, товарищ командир! — Толик стукнул упругими пятками о половицы и задрал подбородок.

— Иди мыть руки, грязнуля...

К Курганову Толик зашел сразу после обеда, чтобы добросовестно покаяться. Но Арсения Викторовича дома не оказалось. Толик решил, что для очистки совести сделал пока все, что нужно, и помчался к Олегу. Там сперва ремонтировали покосившийся штабной навес, а потом до вечера играли в лунки.

Толику везло. Мячик то и дело вкатывался в его лунку. Толик его ловко хватал и, когда кидал, ни разу не промахнулся. Поэтому он то и дело оказывался то «царем», то «судьей», то в суровой должности «палача». А среди тех, кого за промахи «казнят» мячом, он не оказался ни разу.

Но когда играли последний кон, везение кончилось. «Царем» стал Олег, «судьей» Мишка Гельман, а в «палачи» неожиданно попал Шурка. Он сразу принял грозный вид.

Олег сел на «трон» — ящик из-под масла. Мишке косынкой завязали глаза, он уселся на землю ко всем спиной.

Присяжавшие по очереди подходили к «царю».

— Какое наказание справедливый судья назначает этому преступнику? — вопрошал Олег.

Мишка, никого не видя, набобум определял число горячих. От трех до десяти, как придет в голову.

— Наше царское величество утверждает приговор, — каждый раз говорил Олег. Только Люсе, которой досталась от судьи «десятка», он милостиво сократил число мячиков наполовину.

Толику выпало семь горячих. Он пожегился. Мячик был тяжелый и твердый — для игры в теннис. Как всадят таким между лопаток — в глазах разноцветные зайчики... Ну да ладно, Шурка сильно кидать не будет, он бросает из-за плеча, как девочка...

Толик первым пошел к забору, встал носом к доскам. Сказал Шурке со вздохом:

— Давай скорее, что ли...

А Шурка, видать, старательно целился, время тянул. У Толика даже позвонки зачесались.

Мячик свистнул и гулко стукнул о доску у плеча. Промач!

Ага, Шурка! Держись теперь...

Если «палач» мазал, он менялся местами с «осужденным».

Шурка, путаясь ботинками в лебедь, пошел к

забору. Уперся в доски растопыренными ладонями. Замер...

Целиться в Шурку было удобно: белые ляжки перекрещивались точно в середине его голубой спины, пониже матросского воротника. Толик поднял мячик и прищурил левый глаз.

Шурка, видно, ощутил спиной этот миг. Тоненькая шея его задеревенела, пальцы зацарапали доски. Ох, Шурка ты, Шурка...

Стесняясь самого себя, Толик вздохнул и сильно пустил мячик в кружок от сучка в полметре над Шуркиной головой. Забор ухнул, Шурка удивленно оглянулся. Все радостно завопили: «Мазила!»

Мишка потер ладони. По правилам теперь Толик опять вставал к забору, непутевого «палача» Шурку прогоняли «в отставку», а дело брал в свои руки «судья». Толик пошевелил плечами: уж Мишка-то не промажет.

И Мишка не промахнулся ни разу. Когда Толик шел домой, спина у него все еще ныла и стонала.

Вдруг догнал Толика Шурка. Молча затопал рядом.

— Ты чего? — удивился Толик.

— Так... — сказал он.

Толик почему-то смутился.

Шурка шел, нагибался, отдирая на ходу от чулок репы и, замахиваясь по-девичьи, кидал их в сидевших у калиток ленивых кошек. Те презрительно шурлились.

Шурка бросил последний репей и неожиданно сказал:

— А я в тебя нарочно не попал... Не веришь?

Толик удивился, но сразу поверил. И спросил не ловко:

— А зачем?..

— Так... А ты в меня тоже нарочно промазал, да?

— С чего ты взял? — буркнул Толик.

— Я знаю.

— Глупые мы с тобой, — сердито сказал Толик.

Шурка мотнул курчавой головой, подхватил тюбетейку.

— Нет. Я не думаю, что мы такие уж глупые.

Они молча прошли еще с полквартила. Был совсем вечер.

— Мне пора, мама будет волноваться, — сказал Шурка.

— Ага. Беги...

— Спокойной ночи, Толик...

И Шурка побежал, стуча ботинками и держась за тюбетейку.

А Толик шел и думал, что день сегодня был хороший.

На этом радости дня не кончились. Дома оказалось, что приехала на каникулы Варя. Толик зачерещал и повис у нее на шее.

— Голову отлонишь! — закричала Варя. — Пусти, чертушка! Толька, я кому говорю!

Кое-как она освободилась. Проворчала, оглаживая косы:

— Маленький, что ли? Вон какой вымахал...

Мама, а правда, смотри, как он вырос. Длинноногий какой и тощий...

— Тощий, потому что носится целыми днями. С такой жизни можно совсем скелетом стать.

— Не! — сказал Толик. — У меня замечательная жизнь!

Есть остров на том океане...

Скоро Толик убедился, что и в замечательной жизни без тревог не обойтись. Бывают, конечно, совсем беззаботные дни, но потом все равно что-нибудь случится... Все оставалось по-прежнему, только глаза у мамы были теперь невеселые.

Нет, мама не сердилась на Толика, не срывала на нем досаду, как бывало при мелких неприятностях. Наоборот, ласковая была. Но какая-то слишком рассеянная. Даже не спросила ни разу, сказал ли Толик Арсению Викторовичу о фокусе с третьим экземпляр (а он, кстати, все еще не сказал).

Толик всегда чуял, если маме плохо. И сейчас он смотрел на нее с беспокойством, но спросить, что случилось, не решался. Во-первых, мама обязательно скажет: все в порядке, не выдумывай. Во-вторых, Толик чувствовал, что расспросы еще больше ее расстроят, а беде не помогут. Но все-таки, что за беда?

Толик решил взяться за Варю. Ей-то все известно. Недаром они с мамой опять, как весной, шепчутся, будто подружки.

Варя сперва уперлась: ничего не знаю, отвяжись. Но тут уж он вцепился в нее мертвой хваткой. Варя повздыхала, пооглядывалась, взяла с Толика страшную клятву молчать и рассказала.

Мама ходила такая расстроенная из-за Дмитрия Ивановича. У того нашлись жена и дочка. На Украине. Как нашлись? А вот так. Он думал, что они убиты в Киеве при бомбежке, а они уцелели. Выжили и потом, когда в Киеве были немцы. А в начале сорок пятого, после запроса о Дмитрии Ивановиче, получили извещение, что он пропал без вести... А теперь вот они отыскались и он отыскался. Скоро поедет в Киев.

Конечно, тут радоваться надо. И, конечно, мама радуется, что такое у Дмитрия Ивановича счастье. Но...

— В общем, все так в жизни запутано, — вздохнула Варя. — И радость, и печаль... Ты ведь большой уж, понимаешь.

Толик был, конечно, большой, но сейчас приткнулся к Вале, как маленький, чувствуя и грусть и облегчение оттого, что кончилась неизвестность. Жаль, разумеется, что Дмитрий Иванович не будет с ними, но раз уж так вышло, то пусть... Проживут они и втроем: Толик, мама и Варя.

Он прилег Вале на плечо, посчитал на ее подбородке редкие и светлые, как у мамы, веснушки. Сказал шепотом:

— Варь, а ты папу хорошо помнишь?

— Конечно. Я же тебе рассказывала...

— Ага... Варь, а вдруг на него похоронка тоже ошибочная?

Варя молча погладила его по голове. Толик и

сам понимал, что на чудо надежды нет. Красноармейцы писали, что политрук Нечаев погиб у них на глазах: мина разорвалась точно в том месте, где за полсекунды до этого видели политрука...

— Варь, а Дмитрий Иванович насовсем уедет?

— Наверно...

— Ну ладно... Ты попроси маму, чтобы так не горевала, нельзя же из-за этого всю жизнь себя изводить.

— Всю жизнь она не будет,— серьезно пообещала Варя.

И правда, через пару дней мама была уже почти такой, как прежде. Вечером она устроила Толику нагоняй, за то, что лезет в постель с невымытыми ногами, а утром — еще один: за то, что положил между листами коfirку не той стороной:

— Разиня! Я могла испортить два десятка страниц!.. Кстати, ты сказал Арсению Викторовичу про третий экземпляр?

— Я заходил, а его дома нет...

— Целыми днями нет дома? Ох, займись я тобой...

Толик порадовался маминому бодрому настроению и подмигнул Варю. А она ему. Тогда Толик отозвал Варю в коридор и веселым шепотом предложил:

— Знаешь что? Женилась бы ты скорее. То есть это, выходила бы замуж. Вот и будет мужчина в доме.

— Долго думал? — спросила Варя.

— Ага. Вчера целый вечер.

— Хорошо. Иди-ка сюда... — Варя сняла с гвоздя самодельную мухобойку из деревяшки и подошвы. Толик захохотал и ускакал во двор. Там его нашел Витя Ярцев, который появился со срочным известием.

Известие было такое: к Рафику из Казани приехал дядюшка, привез в подарок масляные краски, во-от такую коробку. Рафик на радостях пообещал всем нарисовать новые рыцарские гербы. Старые совсем пооблиняли, а у Толика и вообще никакого нет.

— Олег велел, чтобы ты придумал скорее, какой тебе надо...

Толик давно уже придумал, но стеснялся спросить Олега, можно ли сделать себе щит с эмблемой.

Щиты с гербами были у всех, кроме Толика. У Олега — скрещенные факел и меч на темно-синем фоне. У Мишки Гельмана — оранжевый щит, а на нем черно-белая мишень с перекрестьем. У Семена — крепостная башня на клетчатом фоне — что-то шахматное, хотя насчет шахмат он был ни в зуб ногой. У Вити — луна и солнце на черно-синем щите. Рафик нарисовал себе почему-то гибкого олененка из цветного мультипликационного фильма «Бэмби». Олененок, выгнувшись, летел над пушистыми деревьями. Это был совсем не грозный герб, но самый красивый. У Люси на черном щите желтела комета с хвостом, похожим на растрепанную косу.

Даже у Шурки был щит — с голубыми и темно-синими полосками наискосок и желтыми буквами А. Р. — Александр Ревский. Шурка хотел что-нибудь боевое, но Олег не разрешил:

— Хватит пока и этого. Ты, хотя и Александр, но Ревский, а не Невский...

Толик придумал себе, конечно, щит с якорем. А с чем же еще? Щит — синий, как море, якорь желтый, как начищенная корабельная медь, а в нем — черная буква Т. Она так хорошо врисовывается в якорное тело с перекладинкой.

— А теперь нарисуй звездочку,— попросил Рафика Толик и ткнул в верхний угол щита.— Красной краской. Маленькую...

Он насупился, ожидая, что Рафик спросит: за чем?

Но Рафик молча нарисовал. Маленькую и темно-красную. Как та суконая звездочка на шерстяном рукаве гимнастерки...

Олег сказал:

— Ты не забудь себе и меч сделать. Скоро начнем тренировки по фехтованию. Я книжку достал, там всякие приемы описаны...

— Я уже сделал,— признался Толик.

Новый герб прибили рядом с остальными. Олег похлопал по картону, потом по спине Толика:

— Твой щит на вратах Цареграда...

— Он всего «Вещего Олега» знает наизусть,— гордясь командиром, сказал Шурка.— И вообще все стихи Пушкина.

— Болтун ты, Шурка,— снисходительно отозвался Олег.— Кто же всего Пушкина может выучить?.. Я, конечно, знаю кое-что, но не так уж много. И вообще я больше люблю Лермонтова. Я его «Воздушный корабль» буду на концерте читать.

Оказалось, что пока Толик выяснял семейные дела, робингуды затеяли новое дело. Решили дать концерт для окрестных жителей. Олег напомнил, что надо, не только свистать по улицам, но и о пользе людей думать.

В саду, где ребята много раз играли в пряталки, была концертная площадка. В давние годы здесь выступал оркестр, а во время войны сад заглох, и теперь до него еще ни у кого не доходили руки. Часть эстрады и многие скамейки растащили на дрова, но пастил сцены чудом сохранился и даже не очень прогнил. Олег сказал, что для робингудовского концерта сгодится, артисты легкие. Главное не сцена, а репертуар.

— Что? — удивился непонятному слову Семен.

— Номера всякие... У тебя ведь есть баян?

— Он умеет на баяне только «Раскинулось море широко» играть,— сказала Люся.

— Ну и сойдет. А Витька споет.

— Лучше уж я без баяна спою,— скромно сказал Витя.— А то он как загудит, я и собьюсь.

— Ладно, Семен отдельно выступит, и ты отдельно... А еще надо пьесу поставить, я в «Затейнике» поищу...

«Затейник» — это журнал, где печатаются всякие игры, стихи, описания танцев и пьесы для школьных спектаклей. У Олега была целая пачка «Затейников». Но подходящей пьесы там не нашлось. Попадались то слишком скучные, без приключений, то длинные и такие, где требовалось много девочек. А у робингудов — одна Люся.

— Ладно, что-нибудь придумаем,— пообещал Олег.

Через два дня собрались на веранде, и Олег вытащил из кармана мятую тетрадку.

— Вот... я сейчас прочитаю. В общем, это пьеса...

Толик впервые увидел, что Олег смущается и, кажется, даже побаивается. Витя сказал Толику уважительным шепотом:

— Это он сам сочинил.

Пьеса называлась «Случай на границе» и была про то, как находчивые мальчишки из пограничного поселка отправились в лес и наткнулись на диверсанта. Пока двое ребят хитростями удерживали нарушителя на месте, третий помчался на заставу. Но опытный шпион догадался о ловушке, и ребятам пришлось вступить в схватку. Пограничники — офицер и солдат — подоспели в последний момент, когда во всю кипел бой.

Пьеса всем понравилась. Правда, Толику показалось, что где-то он уже читал или слышал по радио что-то похожее. Но что поделаешь, про шпионов полно всяких книжек, спектаклей и кино. Поневоле получаются совпадения. И Олег же не списывал откуда-то, а сочинил своими словами.

Когда стихли похвалы, Олег, розовый от писательского счастья, стал распределять роли. Шпионом он назначил Семена, в ребячью компанию — Рафика, Витю и Толика. Солдатом-пограничником сделал Мишку, а командиром, разумеется, себя. Для этой роли у Олега и костюм подходящий, оказывается, был: гимнастерка, галифе и фуражка. Военную форму ему сшили весной для участия в школьном празднике «День Победы».

Люся и Шурке ролей не досталось, но Олег сказал, что у Люси и так много забот: объявлять все номера концерта и заведовать театральным имуществом. А Шурке придется отвечать за звуковое оформление. Во время схватки со шпионом он должен уронить груды ящиков — это будет изображать разрыв гранаты. А в самом конце спектакля Шурка включит патефон с пластинкой «Торжественный марш»...

— Если не уронит ящики на патефон или не сядет на пластинку,— заметил Мишка. Олег его одернул и сообщил, что на Шурку он надеется: ролингуд Ревский за последнее время заметно подтянулся...

Репетировать начали тут же на веранде. Слова запомнили быстро, их не так уж много было. Главное — не в словах, а в той сцене, когда мальчишки дерутся со шпионом, выхватывают у него пистолет, а он швыряет в них гранату. Нужно было отработать все приемы.

Отрабатывали два часа подряд. Мама Олега выглядывала из двери и покачивала головой. Люся держала наготове медную крышку от самовара: чтобы прикладывать к шишкам и синякам. Дважды она мазала йодом на актерах нешуточные ссадины... Шурка изображал гранатные взрывы — вдохновенно швырял на пол фанерный лист.

Рафик наконец сказал:

— Ты поосторожней с фанерой-то. Мне на ней афишу рисовать.

Афишу Рафик лихо намалевал масляными красками: белой, красной и синей. Она сообщала, что 20 июля 1948 года в саду на Ямской улице тимуровский отряд «Красные ролингуды» даст для местных жителей пионерский концерт.

Лучше всего на афише получился клоун: с белой смеющейся рожой, с красными волосами, в клетчатых штанах и громадных ботинках. В программе концерта никакого клоуна не было, и Шурка робко заметил, что получается обман. Олег возразил:

— Клоун просто означает, что концерт будет веселый.

И все согласились.

Но по правде говоря, веселья в концерте не ожидалось. Схватка со шпионом — дело опасное, что же тут смешного? Остальные номера тоже серьезные. Музыка «Раскинулось море широко», Витькины песни про пограничника и крейсер «Варяг», стихи про юного героя Ваню Андрианова, которые взялась прочитать Люся. Шурка тоже вызвался читать героические стихи — про Севастопольский камень. И надо сказать, читал неплохо. Может, слишком тонким голосом, но с выражением.

Но лучше всех декламировал, конечно, Олег:

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Олег читал эти стихи каждый раз в конце репетиции. Ролингуды рассаживались по углам пустой веранды, Олег выходил на середину, секунды две стоял молча, потом откидывал волосы, смотрел поверх голов и говорил первую строчку негромко, задумчиво, будто сам с собой разговаривал. Потом голос его звучал крепче, но остался печальным.

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит:
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.

Стихи были длинные, но каждый раз слушали их внимательно, не дышали громко и не ворочались. Лишь однажды Мишка Гельман отсидел ногу и шумно зашевелился. Люся на него цыкнула. Олег оборвал чтение. Толик сказал:

— Ну, тихо вы. Дайте дослушать.

Мишка огрызнулся, потирая колено:

— Чего про него десять раз слушать? Все равно он был враг.

— Кто? — удивился Семен.

— «Кто»! Наполеон!

— Разве это про Наполеона стихи? — не поверил Семен. — Ты чего врешь-то?

Мишка, услышав такое невежество, невоспитанно плюнул.

— Это же все равно, будто сказка, — заступилась за стихи Люся. — Про волшебный корабль.

— А Наполеон тогда уже и не враг был, — сказал Олег. — Он пленный был. Пленные врагами не бывают.

— Ага, «не бывают»! Он Москву сжег,— сказал Мишка.— Может, вы и с Гитлером целоваться стали бы, если война кончилась?

— Дурак ты! — сказала Люся.

Шурка повозил ботинками по полу и неуверенно проговорил:

— Наполеон все-таки не Гитлер. Он, конечно, враг был, но все-таки не такой. Он благородный был...

— Сам ты благородный,— хмыкнул Мишка.— Попал бы ты к нему в лапы...

— Ну и попал бы,— отозвался Шурка.— Тогда пленных не пытали и не расстреливали, потому что война была по правилам.

— Тоже расстреливали, я книжку читал,— сказал Витя.— Но все-таки не так сильно. Тогда фашистов не было.

Рафик вставил свое слово:

— Если бы Наполеон был совсем уж враг, тогда про него стихи не печатали бы...

— Да тут дело не в Наполеоне,— сказал Толик.

— А в чем? — оживился Олег. Ему нужна была поддержка.

Толик засмутился и вздохнул:

— Я не знаю, как объяснить словами... При чем тут Наполеон? Это стихи про одинокое настроение, когда человека все бросили. Потому что остров такой...

— Какой? — спросил Рафик.

— Это же остров Святой Елены. Он вообще печальный... На нем наш моряк, лейтенант Головачев, тоже погиб. Там его погребли...

— Разве наши на том острове воевали? — удивился Мишка.

— Да не воевали... Это давно было, когда Крузенштерн плывал.

— А почему он погиб? — спросил Шурка.— Дикари убили?

— Да не было там дикарей, что ты!.. Он сам застрелился...

— Почему? — У Шурки жалобно приоткрылся рот.

— Я еще не знаю точно, я не дочитал. Но по моему, тоже от этого... от одиночества.

— А какая это книжка? — спросил Олег.— Дашь почитать?

Толик устоял перед соблазном: не стал рассказывать о Курганове и его повести. Не знал, имеет ли право. Он только объяснил, что мама перепечатывает для редакции одну рукопись и дает ему почитать. Когда он все прочитает — пожалуйста, расскажет подробно. А пока... если, конечно, они хотят... он может прочитать свои стихи про это плавание, про Крузенштерна.

Как это у него вырвалось? Отчего? Может, оттого, что вспомнились вечера у камина, тиканье хронометра, карта на стене и ощущение, будто совсем рядом, за окнами, море? Сейчас тоже был хороший вечер и рядом сидели друзья, и Толику захотелось разделить с ними настроение морской таинственности...

Но дело, наверно, не только в этом. Хотелось

еще... нет, не похвастаться, а просто показать, что он не хуже других. Олег пьесу написал, а он, Толик, вот... тоже умеет...

А может, просто бес под язык толкнул. Так или иначе, слова сорвались, не поймаешь. Конечно, у Толика тут же запылали уши, да было поздно.

— Давай, выходи из середины,— велел Олег.

— Да нет, я здесь...

— Выходи, выходи. Чтобы как следует.

Ох, зачем он сболтнул? Хоть бы провалиться сквозь веранду. Толик жалобно сказал:

— Но они ведь не как у Лермонтова. Они... самодельные.

— Давай, давай,— сказал Олег.

Толик вышел, помигал, чтобы не так шипало в глазах от смущения, покашлял... ну и ничего, прочитал. Вятно и без торопливости. Потому что раз уж попросился, куда деваться?

Ребята помолчали, посмотрели друг на друга, и Люся неожиданно захлопала. Тогда и другие захлопали. И у Толика опять затеплели уши, а Олег сказал:

— Мы и не знали, что ты поэт.

— Да никакой я не поэт! Это я случайно сочинил.

— И больше никогда ничего не писал? — удивился Олег.

— Никогда! — Про стихи о месяце Толик опасно умолчал.

У Олега мелькнуло на лице то ли облегчение, то ли удовольствие. Но тут же опять он стал командиром:

— Эти стихи ты обязательно прочитаешь на концерте.

— Я?! — ужаснулся Толик.

— Конечно. Чего им пропадать?

— Но... это же не Лермонтов,— опять жалобно сказал Толик.— Как это будет? По сравнению с ним...

— Зато это твои собственные стихи. У нас так и называется — самодеятельность... В общем, это тебе боевое задание.

Толик успокоился. Если задание — никуда не денешься. Олег — командир, а Толик — рядовой робингуд.

— И еще задание,— сказал Олег.— Попроси маму напечатать для концерта пригласительные билеты. Сто штук.

Мама сказала, что напечатать билеты Толик мог бы и сам: не маленький, знает, как управляться с машинкой.

— Да-а... А сколько я провожусь!

Мама смилостивилась и напечатала. И оставила два билета — себе и Варе:

— Посмотрим, что вы за артисты.

У Толика от волнения засосало под желудком, как в начале первого экзамена. И привычно зачесался рубчик под коленом...

В день концерта мама выгладила Толику галстук и белую рубашку и достала из шкафа полузабытый вельветовый костюм. Лишь тогда Толик понял, что



он и правда вырос за эту половину лета. Жилет еле прикрывал пряжку на поясе, а чтобы застегнуть под коленками манжеты штанов, пришлось изо всех сил натягивать их вниз. И тем не менее, глянувши в зеркало, Толик остался доволен. Он, как и раньше, показался себе похожим на юного капитана из жюльверновской книжки. Тем более что волосы отросли, а лицо покрылось крепким, как густой чай, загаром.

От Дика Сэнда и Жюля Верна мысли скользнули к другим парусам, к Крузенштерну, к острову Святой Елены. К печальным стихам о воздушном корабле... К своим стихам.

Правильно ли, что он согласился их прочитать? Задание заданием, но можно было и упереться. Наверно, Олег не стал бы приказывать по всей строгости... И зачем Олег вообще такое задание дал? О концерте заботился? Или...

Впервые у Толика мелькнуло недоброе подозрение о командире робингуудов. Олег пьесу сочинил, значит, считает себя немножко писателем. Его за такой талант стали еще больше уважать. И вдруг появляется еще один «писатель». Вроде как соперник... И не нарочно ли Олег Наклонов Толика с его самодеятельными стихами выставляет рядом с собой? То есть с Лермонтовым, с «Воздушным кораблем»? Может, думает: «Пусть все увидят, что у Толика Нечаева стихи — просто детский лепет»...

Но... разве Олег такой? Разве он когда-нибудь кого-нибудь подводил? И Толик разозлился на себя. Особенно когда вспомнил ясное лицо Олега и то,

как он красиво подымает голову и откидывает волосы, начиная читать «Воздушный корабль»...

...Он так и читал на концерте. И когда кончил, ему здорово хлопали. Шум стоял по всему саду, потому что на прогнивших скамейках перед эстрадой и прямо на лужайках собралось не меньше ста человек. Это и понятно: билеты робингууды побросали в домашние почтовые ящики на всех ближних улицах. Толик в глубине души это легкомыслие не одобрял. Он побаивался, что могут прийти и такие зрители, которые будут не смотреть и слушать, а свистеть и кукарекать, издеваться над артистами. Особенно, если появятся пацаны с Ишимской во главе с известным второгодником и шпаной по кличке Баня... Однако Баня с компанией не явился, а пришли нормальные ребята из ближних кварталов. А еще — домохозяйки с мелюзгой-дошколятами. Было несколько тетенок, похожих на инспекторш горono и два солдата-отпускника. И родственники артистов. В том числе и мама с Варей...

И вот теперь все хлопали Олегу за то, как он здорово прочитал печальные и смелые стихи...

А потом читал Толик.

Он понимал, что его стихам большого успеха ждать нечего, и словно отвечал урок: раз вызвали, надо рассказывать. Правда, когда Толик начал четвертый куплет (он сочинил его позже и на портрете не писал), голос вдруг зазвенел. И увидел Толик острые скалы в сумрачном море, и почему-то пред-



ставилось, как у стоящих на беспокойном, взволнованном рейде кораблей качаются под реями скрипучие фонари...

Теперь Земля уже почти что вся открыта.
Остались тайны только в синей глубине.
Они — как старый клад, на острове зарытый.
Но, может быть, одна откроется и мне...

Толику тоже хлопали хорошо. Однако он чувствовал: эти аплодисменты не за стихи, а просто за выступление, за старание. Из вежливости. На маму и на Варю он не смотрел. И еще раз порадовался, что нет здесь Курганова.

Мама перед концертом спросила:

— А разве Арсения Викторовича ты не пригласил?

Она и накануне напоминала: надо позвать. Но Толика холодом продирало по позвоночнику от одной мысли об этом. И тут уже дело не в простой стеснительности. Арсений Викторович мог обидеться: сперва Толик подарил стихи ему, Курганову, а теперь читает всем, направо-налево. Стихи эти стали частичкой книги, а книга-то не Толика, она Арсения Викторовича. Спросить разрешения? Но получится, будто просишь назад подарок.

На мамин вопрос Толик с перепугу ответил отчаянным и потому правдоподобным враньем:

— Ма-а! Я к нему десять раз заходил, а его все дома нету и нету!

После чтения стихов, криво кивнув публике, Толик сбежал с подмостков и укрылся в кустах позади

эстрады. Там готовились к пьесе участники спектакля. Олег натягивал офицерское обмундирование. Он сказал снисходительно:

— Ничего выступил. Вполне...

Толик не ответил. Он сел в траву и мысленно дал себе честное пионерское, честное робингудовское, честное морское и всякое-всякое честное слово никогда больше не писать стихов. Чтобы не страдать потом... А если стихи придумаются сами собой, никогда никому их не рассказывать.

А эпитафия к «Островам в океане» пускай останется, раз Курганову именно такие стихи нужны — от мальчишки, который мечтает о дальних морях, не от поэта.

Как хорошо, что Курганова не было на концерте! «Но ведь все-таки тебе хотелось выступить! Что ты вертишься?» — мстительно укорила Толика совесть. И он покраснел.

Впрочем, для переживаний времени не было. Начался спектакль. Он прошел с неожиданным и громовым успехом, который затмил прежние номера, в том числе и стихи об острове Святой Елены. Заключительная схватка со шпионом потрясла зрителей своим драматизмом. Диверсант отбивался как зверь, пистолет его грохнул охотничьем капсюлем будто настоящий маузер. А когда пришло время взрываться гранате, Шурка за сценой не прозевал и лихо обрушил гору пустых ящиков и ржавых ведер...

После концерта Шурка, посасывая палец (придавило ведром), снял артистов своим «фотокором». И сам фотографировался вместе со всеми: протянул от спуска нитку и дернул.

— Можно было бы сегодня сделать карточки, да нет проявителя, — пожаловался он.

Люся выдала ему пять рублей из собранных за концерт денег.

...Из-за этих денег у Толика с мамой вышел разговор.

— Концерт хороший, — сказала мама, — все мне там понравилось. Кроме одного. Зачем эта девочка (Люся, кажется?) сидела у входа и собирала с тех, кто пришел, по двадцать копеек? Двугривенный, конечно, не деньги, но как-то некрасиво...

По совести говоря, Толику и самому это не нравилось. Но маме Толик сказал то, что говорил ребятам Олег:

— Мы же трудились? Трудились. Значит, заработали. Эти деньги не на глупости пойдут, а для отряда. На проявитель для Шурки, на подготовку к походу.

— К какому еще походу? — сразу заволновалась мама.

— Да к небольшому, недалеко. На один день...

Самолет без крыльев

Туча была не просто черная, а с жутковатым булатным отливом. Она обложила горизонт с флангов и сейчас неторопливо — очень неторопливо, но уверенно — подтягивалась к середине беспомощно-голубого неба.

Перед тучей кудрявились несколько светло-серых облачных обрывков. Они быстро меняли форму. От этого тяжесть и непроницаемость тучи казалась еще беспощадней.

На фоне тьмы, обступившей края земли, любая травинка, любая головка цветка была видна очень ярко и отчетливо. И кусты у горизонта. И аэродромный домик на дальнем краю поля, и указатель ветра, похожий на полосатый повисший сачок. И два самолета в траве, издали похожие на присевших кузнечиков. Все это виделось, как сквозь особое, хрустально чистое стекло. Необычно ярко белели стволы березок на дальней опушке.

В застывшей четкости, в неподвижности воздуха, травы и листьев тоже была угроза.

Солнце уже ушло за тучу, но духота не стала меньше. От дюралевых листов самолета несло металлическим теплом.

Собственно, это был не самолет, а лишь каркас фюзеляжа — без крыльев и наполовину без обшивки. Оставшиеся кое-где листы щетинились рваными краями. В них светились пунктирные швы дырочек от выпавших заклепок. Кое-где заклепки сохранились; когда лист задевали, они звонко дребезжали в гнездах — напоминали, что сделаны из металла. Все в самолете было из металла.

«Неужели они этого не понимают?» — с тоскливой досадой думал Толик о ребятах.

Он сидел ниже всех, в траве, рядом с уцелевшим самолетным колесом (оно было похоже на резиновый бублик). Сквозь дюралевые ребра он видел над собой робингулов, рассеившихся кто где, и край тучи, которая медленно заглатывает голубизну.

— Толик, иди сюда, — сказал сверху Шурка. — Здесь в носу будто шалаш, а там тебя зальет, когда дождь начнется.

— По-моему, лучше пойти домой, — отозвался Толик. Он говорил спокойно, почти лениво, но страх звенел, дрожал в нем частыми струнками. — Если быстро, мы еще успели бы.

— Чего смеяться-то, — отозвался Олег. — И пути не пробежим, гроза догонит.

— Ну, до навесов на лесопилке успели бы, — возразил Толик.

— А какая разница? — беззаботно сказал Рафик и попрыгал на пружинистом шпангоуте. — Навесы тоже дырявые.

— Они хотя бы деревянные! — вырвалось у Толика.

— Ну и что? — лениво спросил глупый Семен.

— А то, что дерево молнии не притягивает, а здесь для них все равно что магнит! — опять не выдержал Толик.

Мишка Гельман, который сидел выше всех, ядовито хмыкнул и засвистел. А Олег снисходительно сказал Толику:

— Да брось ты. Смотри, даже Шурка не боится.

«Они и правда не боятся, — с досадливой завистью подумал Толик. — Но они же просто не понимают...»

...А начиналось путешествие хорошо. Вышли рано, тени от заборов были длинные, и в этих тенях висели на травинках шарики росы (Шуркины ботинки от нее заблестели, как лаковые). Было прохладно, пахло тополями, и ноги сами шагали по упругим тротуарам окраины. В поход, в поход!

Одно огорчало Толика: не взял он Султана. Не догадался. А теперь увидел, что с Люсей и Семеном отправилась их рыжая собачонка Пальма, и его грызла совесть перед Султаном.

Но зато в самом начале пути Толик сделал открытие. Там, где строили рельсовую ветку, в грудах камней и щебенки Толик разглядел золотистые кристаллы. Они были впаяны в большие куски грязно-серой породы. Не то пирит, не то колчедан.

— Смотрите!

Командир Наклонов похвалил Толика. И сказал всем:

— Поздравляю, ребята. Найдена новая порода.

Правда, он тут же неуверенно добавил:

— Хотя нет. У нас уже есть такие образцы.

— Таких нету! — заспорила Люся. — Там зернышки мелкие, а здесь, как самородки.

— Да, — великодушно кивнул Олег. — Это новая разновидность. Молодец, робингуд Нечаев. Зоркий глаз.

Нести в рюкзаке камень с золотистыми кристаллами Олег доверил робингуду Ревскому.

Путь лежал вдоль новой насыпи, потом через луг, мимо МТС с красной башенкой водокачки, затем через березовую рощу. На ее краю сделали привал для завтрака.

Расстелили на траве клеенку, выложили на нее всякую снедь.

Чего здесь только не оказалось! Огурцы, вареные яйца, банка с тушенкой, бутерброды со всякой всячиной, печенье, конфеты. Даже свежие помидоры. У Толика запасы были скромные. Мама дала бутерброды с маргарином, пересыпанные сахарным песком, пару огурцов и несколько крупных картофелин. «Вы ведь обязательно будете печь картошку на привале...»

Но Олег сказал, что с картошкой возиться некогда. Маршрут длинный, на долгие привалы и костры времени нет. И он, красиво размахиваясь, запустил картофелины за березы. А бутерброды Толика отдал Пальме. Сказал между прочим:

— Чего маргарин глотать, когда и так всего хватает.

Толика ощутимо царапнула совесть. Мама старалась, собирала ему походный паек, а теперь — картошка в кусты, бутерброды собаке. А кто виноват, что дома с едой совсем не густо? До зарплаты еще неделя, а денег почти не осталось...

Но Олег не виноват, он не знал... В конце концов, собаку тоже надо кормить, и уж лучше ей отдать маргарин, чем тушенку.

У тушенки был такой запах, что слюни просто пузырились во рту. Люся накладывала ее на ломти белой булки, покрытые слоем желтоватого свежего масла. Толик вздохнул и вцепился в кусок зубами. Голод не тетка... И вдруг он услышал:

— Я не буду...

Это Рафик сказал.

— Почему? — удивилась Люся.

— Да не хочу я. Давай без мяса.

Мишка Гельман хмыкнул:

— Тушенка-то свиная. Магомет не велит свинину трескать...

Толик впервые увидел, как Рафик недобро сузил глаза.

— Я с Магометом про это не разговаривал. И ты вообще... Не говори про то, что не понимаешь.

— А я понимаю, — крупно жуя, сказал Мишка. — С религиозными заблуждениями надо бороться.

— Сам ты заблуждение! Магомет и рисовать не разрешал — ни людей, ни зверей. А я, что ли, не рисую? Мне мать с отцом никогда не запрещают. А свинину они не едят, и я не буду. Потому что такой обычай! И все.

Витя, сердито махая ресницами на Гельмана, сказал:

— Твоя бабушка ведь тоже не ест свинину. И по субботам дома ничего не делает, говорит, что в этот день бог работать не велит. А над ней разве кто-нибудь смеется?

— Это же бабушка, а не я, — огрызнулся Мишка.

Толик хмуро бросил:

— Вот ее и воспитывай.

Он был черговски раздосадован. На себя. Почему он не отстоял свой хлеб с маргарином и картошкой? Поссориться боялся? А Рафик вот не испугался — не дал в обиду ни себя, ни родителей, ни обычай. Ну, пускай это заблуждение, что нельзя есть свинину, а все равно твердость у Рафика правильная...

Олег молча жевал, почему-то не вмешивался в спор.

Толик сказал ему:

— Зря ты мою картошку покидал. У нас дома продуктов и без того кот наплакал, у мамы зарплата не директорская. — Он встал и пошел искать в траве картофелины.

Олег догнал его через пять шагов.

— Толик, извини, я не подумал.

Олег один умел так извиняться: честно и без смущенья. И человеку становилось приятно, будто ему сделали подарок.

Хотя Олег и говорил, что на долгие привалы нет времени, у озера застряли на два часа.

Озеро было небольшое, неглубокое и чистое. На восточном берегу стоял дом отдыха Рыбкоопа, а с другой стороны подступал молодой лесок. На этом, диком, берегу был пляж с мелким прогретым песком. Когда бултыхаешься в озере, а потом валяешься на песке, кажется, что время замерло — так же, как замерли желтые кучевые облака в безмятежной высь...

Наконец Олег скомандовал:

— Подъем!

Все поднялись. Кроме Мишки. Он только потянулся.

— Гельман... — сдержанно сказал Олег.

— А, успеется, — зевнул Мишка. — Пока Шурка со своими пуговицами справится, полчаса пройдет.

Шурка всегда после купанья одевался дольше всех. Особенно много возни было у него с бумазейным лифчиком, к которому прицеплялись резинки для чулок. Застегивался лифчик на спине, и Шурка сопел, закидывая назад руки и пытаясь дотянуться до пуговиц. Иногда ему помогали, но Олег не одобрял этого. Говорил, что Ревскому надо приучаться жить без нянек. А Мишка добавлял, что пора уже расстаться с детсадовской сбруей. Толику эти дразнилки не нравились. Когда были помладше, все такую сбрую носили, чего смеяться-то? Шурка не виноват, что дома его до сих пор считают за маленького.

Толик подошел к Шурке сзади:

— Давай застегну.

Пуговицы были большие и твердые, костяные. Толик поморщился от болезненной догадки:

— Ой, Шурка, они же тебе спину под рюкзаком давят!

— Да ничего... — сказал терпеливый Шурка и вздохнул.

— Как ничего? Ну-ка, покажи... — Толик задрал на Шурке майку. На острых позвонках кожа была натерта до кровавых точек. Между лопатками — сса-

дина. Когда купались, никто этого не заметил, а вблизи сразу видно.

— Сними ты эту лишнюю амуницию,— морщась от жалости, сказал Толик.— Зачем ты в ней жарись?

— Я сниму. Я просто не догадался.

Толик повернулся к Наклонову:

— Олег, давай Шуркины вещи раскидаем по всем рюкзакам. Он спину натер.

— Отставить,— возразил Олег.— Он клятву давал не стонать. Он сам свой рюкзак собирал, пусть несет.

— Не сам он, ему дома натолкали...

— Будет в другой раз умнее. Научится маме доказывать.

— У него же камень еще! — вспомнил Толик.

— Да ничего, я донесу,— с храброй покорностью сказал Шурка.— Теперь легче.

Ботинки он надел на босу ногу, и от этого они стали казаться еще больше и тяжелее. И чаще цеплялись за траву и корни.

Путь вел теперь через вырубку, потом через поле с овсом и через лесок, за которым лежал учебный аэродром. А от него шла к городу дорога — прямая и потому не длинная.

Но до аэродрома еще надо было дошагать. Жарко стало, донимали оводы. И в каждой жилке гудела усталость. Будто и не отдыхали недавно и не купались. Наконец вошли в лесок, в тень.

Тропинка привела к заросшему оврагу, через него был перекинут ствол ели — голый и скользкий. Ствол ошестинивался метровыми сучьями (тоже голыми). Сучья только и выручали при переправе. Но Шурку они не спасли. Когда ботинки сорвались, ухватиться за сук «этой бестолковый Ревский» не успел.

Люся, которая шла за Шуркой и несла под мышкой Пальму, тонко завопила.

Шурка не долетел до дна. Лямкой рюкзака он зацепился за короткий горизонтальный сук и повис, как парашютист. Качался, поджимал над зарослями тощие белые ноги и попискивал.

Хватаясь друг за друга, за сучья, за Шуркин рюкзак и за самого Шурку, его вытащили. Лишь панамка, которую Шурке дали в поход вместо тюбетейки, канула в заросшую глубину. Люська охала и хныкала. Пальма тявкнула. Олег сказал:

— С этим человеком не заскучаешь.

Но, видимо, он и сам был испуган.

Остальные молчали. Шурка виновато мигал. На ногу его была длинная царапина.

Царапину промокнули подорожником, а Толик сказал:

— Шурка, давай твой рюкзак. И бери мой, он легче.— И добавил, вызываясь глянув на Олега: — Каждый имеет право выбирать рюкзак, какой хочет. Нет, что ли?

Олег пожал плечами. И Шурка подчинился Толику.

Но тащил Шуркин рюкзак Толик недолго. Скоро вышли из леса, прошагали метров сто по кустам и лужайкам и на краю аэродрома наткнулись на раз-

битый самолет без крыльев. Все забыли про усталость. Побросали рюкзаки и полезли на решетчатый фюзеляж.

Это были останки двухместного самолета. Наверно, учебного. Два сиденья друг за другом, перед каждым — приборная доска с круглыми дырами от снятых циферблатов. Семен сказал, что это По-2. Мишка сказал, что Семен дурак: По-2 — биплан, а у этого была одна пара крыльев, вон видны остатки. Спросили Олега. Олег ответил, что неважно, какой это был раньше самолет, а теперь он будет десантный. Себя Олег назначил главным пилотом. Мишку — стрелком-радистом, а остальных (в том числе и Пальму) — десанниками. Велел прыгать в траву — будто с парашютами — и брать с бою ближние кусты.

...Поиграли в десантников. Люська кому понарошке, а кому всерьез перевязала раны (Рафик порезал руку о край обшивки). Потом Шурка вытащил из рюкзака аппарат и штатив и всех сфотографировал на самолете. Нитки не нашлось, и сам он на этот снимок не попал. Чтобы Шурке не было обидно, Толик сказал:

— Теперь ты лезь на самолет, а я сниму.

И вот тогда, глядя вверх фотоаппарата на самолет и ребят, он вдруг почувствовал, что солнечный свет стал немного другим, тревожным. И увидел над горизонтом тучу.

Толик щелкнул спуском аппарата и сказал небрежно:

— Нам бы поторопиться. Вроде гроза подходит.

Все отнеслись к его известию легкомысленно. Семен заявил, что это вовсе не гроза, а просто темная тучка. Мишка добавил, что она пройдет стороной. А Рафик обрадовался:

— Пускай гроза! Мы здесь отсидимся! — Он полез в нос самолета. На капоте обшивка сохранилась почти полностью, и там в самом деле можно было кое-как спрятаться от дождя.

А от молний?

Но не мог же Толик признаться, что с младенческих лет не переносит грозу. Что готов залезть в любую нору от трескучих электрических вспышек.

Сейчас он пересчитывал себя сколько мог. Даже играл вместе со всеми, когда Олег сказал, что теперь самолет — тяжелый бомбардировщик и летит бомбить вражескую эскадру.

Побомбили и расселись на фюзеляже кто где. Просто так. Болтали, будто и не было близко никакой тучи, в которой тысяча молний и в каждой по миллиону вольт...

Толик наконец снова напомнил, что пора домой. Можно еще успеть! И Олег Толику ответил:

— Да брось ты. Смотри, даже Шурка не боится.

— А я, что ли, боюсь? — жалобно сказал Толик.— Просто я дома обещал, что к шести часам обязательно вернусь. А здесь до темноты можно застрять.

— Не надо было обещать,— холодно возразил Олег.— Может, нам из-за твоего обещания теперь галяпом до города мчаться?

— А может, из-за твоей лени до ночи тут си-

деть? — огрызнулся Толик. Это уже очень напоминало ссору. Но Олег ответил спокойно:

— Кто хочет, пусть идет. Силой никого не держат. Дорога известная. Верно, ребята?

Дорога в самом деле была знакомая: мимо лесопилки, потом вдоль насыпи, а там и улицы. Толик встал. Теперь он почти верил, что мама и правда ждет его к шести. Кажется, был утром такой разговор. А раз так, идти просто необходимо.

Глядя в сторону, Толик проговорил сердито:

— Если бы вас ждали дома, вы бы тоже...

— Да ты не стесняйся,— сказал Олег.— У нас же полная добровольность. Каждый идет куда хочет, каждый несет рюкзак, какой хочет...

Вспомнил! Ну и ладно...

— Шурка, может, пойдешь со мной?

— Нет, что ты. Я с ребятами,— испуганно откликнулся Шурка.

— Ну тогда я твой рюкзак возьму. А завтра принесу. Хорошо?

— Нет, я сам,— так же испуганно сказал Шурка.

— Он сам,— сказал Олег.

А гроза надвигалась, торопила. Молния беззвучно зажглась в глубине тучи.

Толик, не глядя на ребят, бросил на плечо свой рюкзачок.

— Я пошел... Потому что я обещал...

— Не заблудись,— с ехидной лаской пожелала ему Люська. Пальма у нее на руках вдруг тонко твякнула...

Гроза догнала его за лесопилкой. Пригибаясь под упругими струями, Толик бросился к домику, что стоял рядом с насыпью. Заколотил в дверь, она отошла от толчков. Толик боязливо, но быстро шагнул через порог. Он попал в полутемную комнату с большой печью и непокрытым столом. Высокая неприветливая тетка — то ли стрелочница, то ли сторожиха — молча глянула на мокрого мальчишку.

— Здравствуй... — жалобно выдохнул Толик. — Я посижу здесь, пока гроза, ладно?

Тетка опять ничего не сказала и ушла за грязную цветастую занавеску. Толик присел на табурет у двери, рядом с кадушкой, от которой пахло кислой капустой.

За окнами грохотало и вспыхивало — иногда очень сильно (Толик вздрагивал). Но тугое гуденье ливня смягчало грозовые взрывы. Стены и крыша, а за ними плотная завеса дождя — это все-таки защита. Толик передохнул, обнял себя за мокрые плечи. И впервые подумал: «А как же там?»

Каково теперь в просвистанном бурею решетчатом фюзеляже, за несколькими дрожжащими листьями дюрала?

«Сами виноваты», — сказал себе Толик, но легче не стало.

От порога дуло. Толик поджал ноги в раскисших сандалиях, поставил пятки на перекладину табурета. И подумал, что в самолете дует ой-ей-ей насколько сильнее. Тетка вышла из-за ситцевой шторки, глянула на Толика, будто все про него знала, и сер-

дито скрылась опять. Запах кислой капусты смешивался с запахом гнилой тряпки, что лежала на полу у двери. От этого запаха было муторно и тоскливо.

Гроза шумела недолго. Минут через двадцать в ней послышалось утомление, и почти сразу ливень ослабел, будто в небе наполовину прикрутили краны. Грохотало часто, но уже без вспышек и в отдалении. Дождь стал мелким. И вдруг на залитом окне зажглись солнечные искры.

Неужели кончается? А казалось, что мрак, молнии и ливень — на долгие часы.

Толик приоткрыл дверь. Еще сеял похожий на пыль дождик, но край уходящей тучи горел расплавленной медью. Толик зажмурился и оглянулся. Тетка стояла посреди сумрачной комнаты.

— Я пойду. До свиданья...

Толик подумал, что хмурая женщина отмолчится и сейчас. Но она сказала неожиданно звучно:

— Иди, иди. За всю жизнь не отсидишься.

И опять показалось Голику, что она знает, как он ушел с самолета...

Толик забрался на скользкую насыпь и пошел по мокрым шпалам к городу.

На рельсах сияли солнечные зайчики. Трава и кусты сверкали. Воздух был такой, что зажмуривайся от счастья и дыши изо всех сил. Но у Толика к небу и горлу словно прилипла кислая гниль из той грязной комнаты. Это был запах трусливого убежища и вины...

Когда Толик вернулся домой, мама сказала:

— Слава богу! Такая гроза... Вы под нее не попали?

Толик был уже сухой.

— Я переждал... мы переждали,— хмуро проговорил он. Запах гнили никак не отвязывался. Толик поморщился и глотнул молока из литровой банки, что стояла на подоконнике.

— Не хватай еду впопыхах. Мой руки и садись за стол. Я котлеты приготовила.

— А откуда мясо? Ты деньги получила? — без особого интереса спросил Толик (думалось совсем о другом).

— Заходил Арсений Викторович, взял то, что я успела напечатать, и сразу расплатился.

— Ты все три экземпляра отдала? Я же не дочитал...

Мама сделалась строгой.

— Отдала два. Но не потому, что ты не дочитал, а потому, что насчет третьего объясняйся сам. Стыдно, что ты до сих пор этого не сделал.

— Я много раз ходил, а его все дома нет...

— По-моему, не его дома нет, а совести у тебя нет. Заварил кашу, а расхлебать боишься. Нельзя быть трусом.

Нельзя быть трусом. Толик это понимал. Но, конечно, мысли его были не о рукописи Курганова. С рукописью — ничего страшного. Отнесет он Арсению Викторовичу третий экземпляр, объяснит, как это получилось — вот и все. Курганов поймет.



А как быть с тем, что он, Толик, ушел с самолета?

Сейчас он уже сто раз пожалел, что не остался с ребятами. Ничего бы не случилось. А если и случилось бы... Все равно, наверно, лучше, чем вот так маяться!

Как теперь посмотрят робингуды, когда он придет в штаб? Да и не придет он. Зачем? Олег все равно не простит...

Мама с Варей куда-то ушли, Толик бухнулся на кровать и разглядывал потолок. Гроза не изменила погоду, было опять душно, в комнате с ноющим звоном летала липкая тяжелая муха.

И мысли были тоскливые, как этот звон, липкие и противные, как эта муха.

...Олег не простит. Он никому ничего не прощает. Потому что справедливость для него сильнее жалости. Вот и Шурка не хотел помочь... «А разве это правильно? — подумал Толик. — Ведь Шурка совсем вымотался! Это уже не справедливость, а издевательство... А еще командир!»

Но тут же Толик одернул себя: «Ну и что? Пускай Олег такой и сякой, а ты... А ты все равно трус!»

Он как бы разделился на двух Толиков. Один хмуро и безжалостно рассуждал про вину другого, а тот, другой, почти не оправдывался, лишь иногда слабо огрызался.

Беспощадный к себе, Толик заставил себя встать. Подмел и без того чистый пол, притащил с колонки почти полное ведро, покормил остатками супа Султана, аккуратно расставил на этажерке книги.

Потом он увидел рядом с машинкой новые листы с повестью Курганова — мама сегодня напечатала. Увидел и... не сразу решился их взять. Испытал боязливую неуверенность, даже стыд: словно после трусливого ухода с самолета он потерял право читать книгу о хороших и смелых людях.

Но все-таки взял. Положил листы перед собой на подушку.

«...Федор Иванович Шемелин был тяжело и привычно озабочен. Разгрузка затягивалась. Не было уже и речи о том, чтобы выгрузить шесть тысяч пудов злополучного железа, которое лежало в трюмах на месте балласта. Но необходимо было свезти на берег сарачинскую крупу, привезенную из Японии, а также и соль, которую упрямые в дипломатии, но любезные при прощании японцы преподнесли в виде подарка всем офицерам и матросам. Надо отдать справедливость господину капитану Крузенштерну: это по его убедительному слову все господа офицеры и все служители «Надежды» порешили не продавать соль для своей выгоды, а передать ее на склады Петропавловска для общей пользы.

Но забота господина Крузенштерна о Компании на сих границах и кончилась. Отдав распоряжение начать разгрузку, матросов на оное предприятие посылал без охоты, говоря, что опасается, как бы не занесли они на берег оспу, от которой может случиться среди местных жителей великий мор, как то было уже в 1767 году.

В словах господина капитана можно было найти известную справедливость, ежели бы осторожность

его не казалась чрезмерною. Заболевший на «Надежде» солдат давно поправился, койка его, белье, плажье и все вещи брошены в море, койки служителей, да и весь корабль окурены солеными кислотами. Доктор господин Еспенберг твердо уверял, что опасности уже нет. Однако капитан в ответ на замечание Шемелина, что опять страдают интересы Компании, сказал, обращаясь не столько к нему, сколько к окружающим господам офицерам:

— Пришла же охота господину камергеру набирать телохранителей столь поспешно, что не заинтересовался, была ли у каждого из них прежде оспа. Знал же, что угроза сей болезни в японских и китайских водах весьма велика...

Господин капитан-лейтенант Ратманов, офицер хотя и заслуженный, но на всякие непристойные шутки способный, тут же высказался о Николае Петровиче Резанове, что якобы страх того перед бунтом на борту «Надежды» сильнее был, нежели оспа и чума, и холера, взятые в совокупности. Господин же лейтенант Головачев, человек совестливый, тихо сказал:

— Право же, Макар Иванович, вы опять за свое... Скоро он оставит нас, к чему вспоминать прошлое...

Господин Крузенштерн с равнодушным лицом стоял у фальшборта и в разговор более не вступал. Шемелин пожал плечами и съехал на берег, от которого «Надежда», стоя на якоре, была в близости.

В том, что господин Крузенштерн не имеет желания предпринимать ни малейших подвигов в пользу Компании, Шемелин убеждался все более. «И не последняя тому причина — ссора его с Начальником», — думал Федор Иванович.

По справедливости говоря, и господин Резанов не раз подавал поводы для взаимных обид. Однако же не его, купца Федора Шемелина, дело судить прямого начальника своего. Тем более что за главное дело экспедиции — интерес Российско-Американской компании — радеет Николай Петрович всей душой.

А господин Крузенштерн последнее время не стесняется даже и открыто говорить о Компании обидные слова. Недавно увидав на пристани промышленников с компанейского брига «Мария», капитан «Надежды» сказал господам Ромбергу и Ратманову:

— Когда мы слышали в Петербурге о богатствах Компании и благородных ее устремлениях, мыслимо ли было предположить, что увидим здесь сие убожество и небрежение начальства к простым ее служителям?

Лейтенант Ромберг, человек воспитанный и мало-словный, на речь эту лишь развел руками, а Ратманов громко сообщил, что от здешних комиссионеров много и не ждал, поскольку известно, что «каков пол, таков и приход». Тут же раздался смех среди матросов. Они хотя и стояли в стороне и к разговору командиров касательства не имели, но острый на слух и на язык квартирмейстер Курганов сказал товарищам что-то о приказниках здешних явно непристойное.

Промышленные же с «Марии» и правда были частью больны цингой и язвами, а частью грязны

и в одних лохмотьях. Но отнести это следовало не Компании, а собственной их нерадивости, а также небрежению со стороны лейтенанта Машкина, коему поручено было всех этих людей отправить на своем бриге в Америку еще осенью. Убоясь несильной течи в трюме и осенних непогод, Машкин зазимовал в Петропавловске, чем причинил Компании великие убытки...

Слыша обидные слова капитана, главный комиссионер Компании Федор Иванович Шемелин осмелился вступить в спор:

— Как можете вы, Иван Федорович, судить о деле всей Компании по виду нескольких несчастных, которые и промыслом-то заняты не были, а волею случая провели здесь зиму в бездельи?

Господин Крузенштерн ответил, что судит не только по сей встрече и что рассмотрелся он уже на компанейские порядки достаточно, а слышал от верных людей и того более. Несчастные промышленники, коих приказчики кормят вонючей солониной и сухарями с плесенью, настрадавшись и ожесточившись здесь без меры, столь же бесчеловечно будут мучить потом невинных туземцев. И есть тому тоже немалые доказательства.

Шемелин сказал почтительно, однако же с долею досады:

— Странно, господин капитан, слышать такое от человека, которому Компания доверила командование кораблями и свои интересы. Всем ведомо, что вы сами были среди первых, кто замыслил эту экспедицию.

— Думая о плавании, я не ждал, что главная цель его будет одна лишь выгода акционеров Компании,— резко ответил Крузенштерн.— Кроме того, компанейские интересы теперь всецело в руках господина Резанова, поскольку угодно ему было объявить себя начальником экспедиции, а мне оставить лишь управление парусами.

— Однако же, Николай Петрович отправляются в Америку, и мне ли напоминать вам, что ваш долг закончить предприятие с наилучшей пользой для Компании, у которой вы на службе.

Светлые глаза Крузенштерна под глубокой треуголкой нехорошо блеснули.

— Господин главный комиссионер! Офицеру Российского флота действительно нет нужды выслушивать от купцов напоминания о долге. Смею заверить вас, что я не оставляю экспедицию, как это делает господин Резанов, измыслив для сего пустые причины.

Шемелин сказал, что оговаривать решения его превосходительства Николая Петровича, который поставлен над ними государем императором, возможным не считает. К тому же господин Резанов, как известно, не отдыхать едет, а в нелегкое плавание отправляется для обследования компанейских поселений.

Крузенштерн помолчал и сказал мягко:

— Федор Иванович, мы с вами на одном корабле немало общей каши съели, и я вижу давно, что человек вы умный, просвещенный и обязанности свои исправляете отменно. Жаль только, что ваши должности понуждают вас не видеть ничего далее сугубых

выгод компанейских... Но посудите сами, может ли моряк, впервые пошедший кругом Земли, интересы плавания ограничить пользою торговой компании? Новые открытия в науках и описания неизвестных земель — не в пример ли важнее для отечества?

— Так и я, Иван Федорович, пекусь о том же,— нашелся Шемелин.— Коль скорее закончим выгрузку, больше времени останется для плавания около Сахалина.

Крузенштерн добродушно, однако с некоторой неохотою, посмеялся и сказал, что ранее, чем прибудет из Нижнекамчатка губернатор генерал Кошелев, отправляться все равно нельзя, поскольку у капитана с губернатором важные дела.

Это был еще один шаг против Резанова. Тот инструкцией своею торопил капитана «Надежды» с отходом к Сахалину, а Крузенштерн тянул, ожидая встречи с губернатором. Он надеялся, что Кошелев во всем разберется справедливо и доложит в Петербург: Резанов не пожелал идти в Америку на «Надежде» без всякого к тому повода со стороны корабельных офицеров. Без такого свидетельства возвращение в Россию могло быть просто опасным.

...Про все это думал Шемелин в то теплое и пасмурное утро на пристани, глядя, как подходит очередной барказ с «Надежды». Здесь нашел Федора Ивановича солдат и сообщил, что его превосходительство требует господина Шемелина к себе.

Как и в прошлый приход на Камчатку, Резанов квартировал в доме коменданта порта. Шемелин он встретил в приземистом зале с тесаными столбиками-колоннами, которые придавали деревянному помещению некоторую европейскую торжественность.

Шемелин поклонился. Резанов встал из-за широкого, крытого зеленым сукном с кистями стола. Он был в мундире и при шпаге.

— Господин Шемелин,— проговорил Резанов с неожиданной ноткой волнения.— Как вам уже известно, дальнейшее пребывание мое на корабле «Надежда» в обществе господина Крузенштерна и других господ офицеров, ему подчиненных, счел я для себя несообразным и посему хотел отказаться от дальнейшего плавания, закончив свою миссию обозрением Камчатской области. Но счастливый случай, доставивший в Петропавловск бриг «Марню», дает мне возможность до конца выполнить высочайшее предназначение и посетить наши американские владения. Вам же надлежит после плавания «Надежды» к Сахалину отправиться с господином Крузенштерном в Кантон с компанейскими мехами, где и произвести коммерцию со всевозможной для Компании выгодой...

Шемелин почтительно молчал, но в молчании притаилось удивление. Зачем его превосходительство повторяет то, что всем уже известно, да еще с такой торжественностью?

Резанов же плавно протянул к столу руку и открыл окованную серебром шкатулку, в которой держал свои важные бумаги.

— Господин Шемелин...— голос его сделался ласковее, но торжественность не пропала.— Судьба велит нам расстаться после того, как мы столько были вместе среди трудов и опасностей. Но прежде чем это случится, я хочу изъяснить вам сердечную признательность за поведение ваше и службу и возложить на вас отличие, которое вы заслужили...

После того вынул он из шкатулки золотую медаль, тяжело повисшую на голубой кавалерской ленте ордена святого Андрея. Однако же на смущенного Шемелина не надел, а положил на край стола. А из шкатулки достал шелестящий лист и начал читать, сам увлекаясь все более высотой слога и важностью минуты:

— Его императорское величество, обращая высокомонаршее внимание к трудам, на пользу отечества подъятым, высочайше уполномочить меня соизволили отличать наградами тех, коих заслуги окажутся оных достойными...

И так далее. Он долго читал, а Шемелин слушал без радости и даже со страхом. Что и говорить, награда высокая, но разве один он ее достоин? Какие бы раздоры ни случались у посланника с моряками, но без умелых офицеров и матросов никакого плавания, никаких открытий и заслуг не было бы вообще. А господа ученые! Разве мало сделали они для пользы науки российской в этой экспедиции? Господин же Резанов наградою отмечает одного главного приказчика, явно показывая желая, что у иных участников экспедиции заслуг не видит и не признает.

Конечно, на то воля Начальника. Однако же его превосходительство отбудет скоро к островам американским, а ему, Федору Шемелину, с Крузенштерном и другими моряками плыть вместе до самой России. Как посмотрят спутники на эту медаль?

— Ваше превосходительство...— осторожно начал Шемелин.— Мне и слов не найти, чтобы в полной мере выразить чувствительную благодарность за ваши милости. Потому что одним только вашим милостям я и обязан столь высокою наградою. Ежели взглянуть беспристрастно, то все, что я делал до сих пор, были только самые обыкновенные труды, кои я и без всякой награды исполнять был обязан. Посему, не заслужа, стыжусь принять и носить сие отличие. Не лучше бы, ваше превосходительство, получить мне его, когда экспедиция благополучно положит якорь в Кронштадтской гавани? И за особое счастье почел бы я тогда получить награду эту из собственных рук вашего превосходительства. Пока же предприятие сие не закончено...

Говорить Шемелин умел, в жизни немало пришлось иметь дел с высокоучеными господами, да и книг умных прочел он множество. Сейчас, однако, понял, что речь свою затянул чрезмерно.

Резанов смотрел на него с изумлением, с досадою, а потом и с гневом. Лицо посланника пошло малиновыми пятнами.

— Что это говорите вы, сударь!— наконец закричал он.— Предприятие не закончено! Что это значит? Хотите ли вы сказать, как некоторые, что я экспедицию оставляю раньше срока и тем долг свой исполняю недостаточно? Не предписано ли мне го-

сударем императором выбирать средства к наилучшему завершению дел по своему усмотрению? От многих людей здесь мог я ожидать неповиновения и непочтения, но от вас... Любою на вашем месте счастлив был бы такой наградою! Скажите, сударь, что стало причиною такой неблагодарности и грубости вашей?!

Он долго кричал еще, гневно топоча тонкими шелковыми ногами и теребя красные обшлага мундира. Паричок сбился. В глазах блестели капельки слез.

Навернулись слезы и у Шемелина. Он понял, что далеко зашел в своей шепетильности. Единого слова Резанова достаточно, чтобы обрушить на главного комиссионера Компании великие немилости и несчастья. Но пуще страха была обида. Может, подвыгов он и не совершал, но не служил ли разве всей душою Компании? Не был ли Резанову надежным помощником?

Теперь одна оставалась надежда, что при своем переменчивом нраве Резанов гнев изольет быстро и успокоится.

Когда его превосходительство, часто дыша и утирая лицо, замолчал, Шемелин сказал тихо, но с достаточной твердостью:

— Воля ваша, Николай Петрович, как в милости, так и в немилости. Простите, если огорчил вас. Но одно скажу еще: в преданности моей и усердии вам сомневаться не должно.

Резанов скомкал и затолкал за обшлаг кружевной платочек, постоял, наклоня голову, потом подняв лицо и... улыбнулся. И, шмыгнув носом, будто дитя виноватое, сказал негромко:

— Прости и ты меня, Федор Иванович.— Шагнул, встал на цыпочки, поцеловал его, большого и бородатого, в щеку.— Столько досад со мною приключилось, что иногда себя не помню и забываю, кто мне истинный друг...

Шемелин стоял смущенный и растроганный.

Резанов отошел опять на шаг и проговорил твердо, но и здесь не без ласковости:

— Пусть будет по-вашему, Федор Иванович, оставим до Петербурга, хотя не находил я никаких препятствий, чтобы здесь оказать вам справедливость. Вы, господин Шемелин, человек редкий...

Утром 24 июня 1805 года офицеры «Надежды» беседовали на шканцах и смотрели, как вытягивается к выходу из гавани бриг «Мария». Матросы компанейского судна вразной махали веслами, завозили на сотню сажень якорь-верп и бултыхали его со шлюпки. На бриге скрипел на всю гавань шпиль — мотал якорный канат, и судно ползло по серой с проблесками солнечной ряби воде.

— Что ни говорите, господа, а камергер Резанов — человек храбрости небывалой,— заметил Ратманов.— Иначе как решился бы он идти в плавание на судне с такой командою? — И Макар Иванович кивнул на шлюпку.— Ну да от нас, конечно, хоть куда сбежишь...

— Напрасно смеетесь, Макар Иванович,— сказал Крузенштерн.— Здешные жители не виноваты, что

среди них недостает искусных моряков. Дело в будущем поправимое, если возьмутся за него умелые люди.

Ратманов хотел возразить, что коли и смеется, то не над командою брига... Но в тот момент с левого борта подошел комендантский баркас и на палубу поднялся гарнизонный офицер.

— Господин капитан! Господа! Поручено мне комендантом сообщить, что его превосходительство Николай Петрович сегодня отбывают. Комендант просит всех пожаловать к обеду, проводить его превосходительство...

Офицеры смотрели на Крузенштерна. Он сказал:

— Я уже имел честь обговорить с господином Резановым все, что касается дальнейшего нашего плавания, и не смею более отнимать его время. Что же касается обеда, то как раз в этот час должно мне быть на корабле по крайней служебной надобности. Принесите господину коменданту мои извинения.

— А... другие господа офицеры? — спросил простодушный пехотный поручик.

— Что до господ офицеров, то сие на их усмотрение.

Офицеры один за другим сослались на неотложные дела. Только лейтенант Головачев молчал. И все в конце концов взглянули на него. Он покраснел и голосом, в котором чуть ли не слезинки перезванивались, но твердо проговорил:

— Ежели господин капитан не укажет мне на твердую необходимость быть по службе на корабле, я не вижу причины не поехать проводить Николая Петровича Резанова.

Всем стало жаль его. Мичман Беллингаузен даже закашлялся от неловкости, а Ратманов сказал с непривычной мягкостью:

— Да и мы не видим причины. Что вы в самом деле, Петр Иванович? Езжайте, коли есть желание...

В этой мягкости, однако, опять почудилась Головачеву усмешка, и он, резко отвернувшись, сказал посланцу коменданта:

— Едем, господин поручик.

Головачев ехал на берег с грустью. И с досадою на весь белый свет: на офицеров — товарищей своих по кораблю, на себя (непонятно отчего) и даже на Николая Петровича. Но сильнее досады была затаенная надежда на чудо.

Умом Головачев понимал, что мысли его — вроде тех сказок, которыми утешал он себя в детские годы, в бытность в корпусе, когда подкрадывалась нестерпимая тоска по дому или закипали слезы обиды на бойких и насмешливых товарищей по роте. Ночью, утыкаясь мокрым лицом в казенную подушку, мечтал тогда Петя, что однажды посетит их морской шляхетный корпус матушка-императрица Екатерина Великая. И проходя перед линией выстроившихся во фронт воспитанников, заметит небольшого роста, но на диво подтянутого и ясного лицом кадета из младших классов.

— Как твое имя? — ласково спросит государыня.

— Головачев Петр, ваше императорское величество!

— Молодец... А скажи-ка, голубчик, — обратится государыня к директору корпуса Голенищеву-Кутузову, — каковы успехи Головачева Петра? Радеет ли?

Кутузов — вице-президент адмиралтейств-коллегии и прочая, прочая, — бывающий в своем корпусе не многим чаще самой императрицы, растерянно смотрит на инспектора классов Николая Гаврилыча Курганова. Тот поспешно делает шаг вперед:

— Успехи отменные, ваше императорское величество! В изучении всех наук показал изрядные способности и прилежание. Поведения также весьма похвального.

— Отрадно сие... Однако же... — Матушка-императрица глядит в лицо замершему от сладкого страха кадету Головачеву. — При таком расположении и душа должна радоваться. Отчего же глаза у тебя, Петя, невеселые?.. Далеко ли твои родители?

— Так точно, ваше императорское величество, — сипловатым от набевавших слез голосом говорит он. — В Калужской губернии. Батюшка в отставке уже... Я полгода не видел его и маменьку...

Голенищев-Кутузов бледнеет при столь неприличном и дерзком многословии кадета, но государыня кладет Пете на голову мягкую ладонь и кивает ласково. А затем строго спрашивает директора:

— Не чинит ли кто Петру Головачеву обид?

Его высокопревосходительство лепечет, что «никак нет, даже и невозможно сие», но от матушки-императрицы скрыть ничего нельзя, каждого она видит до самой души, и побледневшие Филипп Кушелев и Евлампий Левенгарц, кои вчера отобрали посланные из дому сласти да еще смеялись обидно и обзывали неженкой, опускают в великом смущении головы. Да и братья (старший — Андрей и двоюродный — Петр Головачев-первый), вспомнив, как не хотели заступиться за Петю, чтобы не ссориться с товарищами, теперь белы от страха.

И говорит великая государыня директору:

— С обидчиками учинить разбирательство и всех, кто виновен, наказать примерно...

Тогда Петя вытягивает шею, глядит на матушку-государыню во все глаза и говорит умоляюще:

— Простите их, ваше императорское величество! Вы же такая добрая! А они ведь не со злости, они просто по неразумению. Я им дурного не хочу, только пусть больше не пристают!

— Ну, коли так... — улыбается государыня. А на тех глядит строго: — Но смотрите у меня...

А потом говорит она директору корпуса:

— Ведомо ли тебе, генерал, что есть у меня мысль устроить в Ораниенбауме отдельный класс для особо прилежных и к навигаторскому и военному на море делу способных мальчиков? С тем, чтобы из них выходили скорее других славные офицеры для моих кораблей? Вот и решила я, что Петр Головачев будет там среди первых воспитанников. А чтобы беспокойство о родителях не мешало его учению, надлежит им переехать в Санктпетербург, для чего жалую я отцу Петра Головачева добавочный пенсион и в столице каменный дом со службами...

...Ох, сказки, сказки. Хоть и понимал всю их несбыточность, а на какое-то время утешали.

Но стоит ли сейчас утешаться пустыми мечтаниями? Не дитя уже. Двадцать пять лет прожил и повидал немало. Порох успел понюхать в девяносто восьмом году, когда наши корабли вместе с англичанами блокировали берег Голландии. В штормах бывал и ураганах, причем в таких, когда многие не робкого десятка люди прощались с жизнью, а он страха не показывал. И теперь вот обошел полсвета и дело свое исправлял не хуже других, капитан Крузенштерн подтвердить это может по совести.

Хотя и молод лейтенант Головачев, но позавидовать его морскому умению могут старые служаки, которые за всю жизнь не видели ничего кроме Кронштадта, Ревеля и ближних балтийских берегов. Пора бы лейтенанту и внутри себя обрести твердость. Но до сих пор, когда он в тесной каюте своей не спит после вахты и вспоминает все твердосердечие людей друг к другу, все неясности в жизни и обиды, приходит жалость к себе. И как в детстве, хочется, чтобы случилось чудо.

Вот и сейчас, под равномерное повизгивание уключин, под ровное покачивание зыби, накатывают мысли о невозможном.

...Резанов улыбнется навстречу ласковой своей улыбкой:

— Петр Иванович, голубчик, после всего, что проплыли мы вместе, зачем же расставаться? Отчего не отправиться вам со мною на Кадьяк и далее к американским берегам, а господин Крузенштерн пусть возьмет вместо вас господина Давыдова или господина Хвостова, коих назначил я вначале своими попутчиками. Тоже офицеры и тоже моряки отменные... Ваше же возвращение в Санктпетербург хотя и задержится, но зато польза от совместного нашего вояжа в Америку будет немалая...

Нет, несбыточно это.

А почему несбыточно?

Да потому, что ежели бы хотел того Резанов, то высказал бы такое предложение сразу, как решил плыть на «Марии».

Но, может, сперва недосуг было думать о Головачеве, а сейчас вспомнил? Можно ли помыслить, что совсем не помнит Николай Петрович того доброго, что было между ними после Нукагивы?

Отчего так тянуло Головачева к Резанову? Может быть, кто-то незнакомый с ними обоими подумает впоследствии, что лестно было молодому лейтенанту дружеское знакомство с близким царю вельможею. Или, чего доброго, придет мысль, что боялся Головачев быть замешанным среди других офицеров в дерзком неповиновении посланнику? Но все, кто знает второго лейтенанта «Надежды», не могут, не покрывив душой, обвинить его в трусости или подобострастии начальству. Известно на корабле и в Петропавловске, что в прошлом пребывании на Камчатке, когда Резанов обвинял Крузенштерна в бунте, объявил его лишенным капитанской должности и предлагал всем по очереди офицерам принять начальствование над кораблем, Головачев ответил, как и прочие:

— Ваше превосходительство, кроме господина Крузенштерна никого представить капитаном на «Надежде» невозможно. В нем одном офицеры и служители видят командира. Не мне судить о его вине перед вами, он капитан мой, и принять ваше предложение для чести офицера флота было бы немислимо.

Не разгневался тогда Резанов, не кричал, как на других, не укорял, а только сказал печально:

— Ну, что же, Петр Иванович, мне ведомо, что вы всегда поступаете по совести.

И кто знает, может быть, и эта беседа, а не только уговоры губернатора Кошелева повернули Резанова к миру с Крузенштерном. Непрочным, правда, оказался мир, хватило его лишь на плавание в Японию. Сейчас Резанов ушел с «Надежды» окончательно. И забыл лейтенанта, который душевно сочувствовал ему в тяжелые месяцы.

Почему сочувствовал? Потому что казалось ему, Петру Головачеву, что чем-то похожи они с Резановым мыслями и характерами. Похожи, несмотря на разницу в годах и званиях. Чудилось Головачеву, что угадал он в Резанове незащищенную душу, понял его одиночество и тоску по искреннему другу.

А где взять такого друга на маленьком корабле — посреди громадного и неведомого океана? Офицеры были врагами, в свите оказались люди пустые и к душевным терзаниям начальника своего равнодушные. Только Шемелин оставался надежен, но в своем звании приказчика был Федор Иванович скорее на положении слуги, нежели товарища. Вот и потянулся Резанов к Головачеву, видя в нем одном сердечного собеседника и понимающего человека.

А потом, обретя силу и уверенность, утвердивши свое звание начальника, забыл о том, кто не боялся пойти против товарищей ради его, Резанова, зашиты.

Но забыл ли? А может быть, сегодня все-таки скажет: «Господин Головачев, зачем же расставаться нам?»

Резанов ничего не сказал. Ничего, что изменило бы судьбу лейтенанта Головачева. Он улыбался ласково, подержал Петра Ивановича за руки, говоря, что трогательно рад его приезду и дружеской верности. Но... вот и все. После Резанов не выделял уже Головачева из числа провожающих.

С частью из них Резанов чувствительно обнялся и расцеловался на берегу, другие же поехали провожать его на «Марию», которая стояла уже за пределами гавани, в губе. День был тихий и нежаркий, с влажностью в воздухе и горами облаков, из-за которых солнце опускало на зеленоватую воду косые столбы лучей. Со шлюпки поднялись все на палубу «Марии», где его превосходительству рапортовал по форме командир брига лейтенант Машкин — человек малообразованный, со злым землистым лицом, известный тем, что недавно люто наказал своего матроса кошками и того в беспамятстве свезли на берег. Резанов, однако, кивнул ему с любезностью, а затем опять пошли объятия и поцелуи с провожающими.



— Прощайте, прощайте, друзья мои,— говорил Резанов. Голос его дрожал, и все ощущали искреннюю горечь. У Шемелина в бороде запуталась искристая капелька, остальные тоже вытирали слезы.— Коли судьба разрешит, свидимся в Санктпетербурге по окончании всех путешествий наших. Ежели кто не вернется, на то воля божия. Будем же помнить друг друга до конца дней. Прощайте...

Через день Шемелин записал в своем журнале:

«Прощайте, твердил он и тогда, когда мы, оставя уже его, были на шлюбе и находились на довольной от судна отдаленности,— отголосок поразительный для сердец любящих сего Начальника. С полудня в 5 часов 14 числа «Мария», пользуясь попутным ветром, подняла якорь и скоро скрылась из глаз наших».

Головачев растроган был при прощании не менее остальных. Он уже не мечтал о чуде и обиды на Резанова не чувствовал. Все заслонила горечь расставания.

Но когда шлюпка подходила к «Надежде», новая, непохожая на прежнюю печаль, тоска сдавила Головачеву грудь.

Это был первый приступ той скручивающей душу тоски, которая потом не раз черной гостьей приходила к Головачеву...

Тоскливо снова сделалось и Толику. До слез.

Подошел Султан, ткнул Толика носом под локоть: ты чего?

А чего он, в самом деле?

Будто наяву Толик видит невысокую корму с решетчатыми окнами и надписью «Мария», человека

на этой корме. Человек поднял треугольную шляпу и повторяет с горечью: «Прощайте, прощайте...» И печальное эхо разносится над водой. И здесь, сейчас, отдается в комнате. В ушах у Толика отзывается.

Это слово не Резанов говорит друзьям. И не Головачев ему отвечает. Это, видимо, Толик прощается с робингудами.

Он, Толик, тоже оставил экспедицию на полпути...

«Ну, что я такого сделал?! Никаких важных дел там не было, никто из-за моего ухода не пострадал! И я же не начальник был... Я объяснил, что домой надо, и они сказали: иди...»

«И ты пошел, потому что боялся. И все это види!».

«Если бы сказали: «Не ходи», я бы остался».

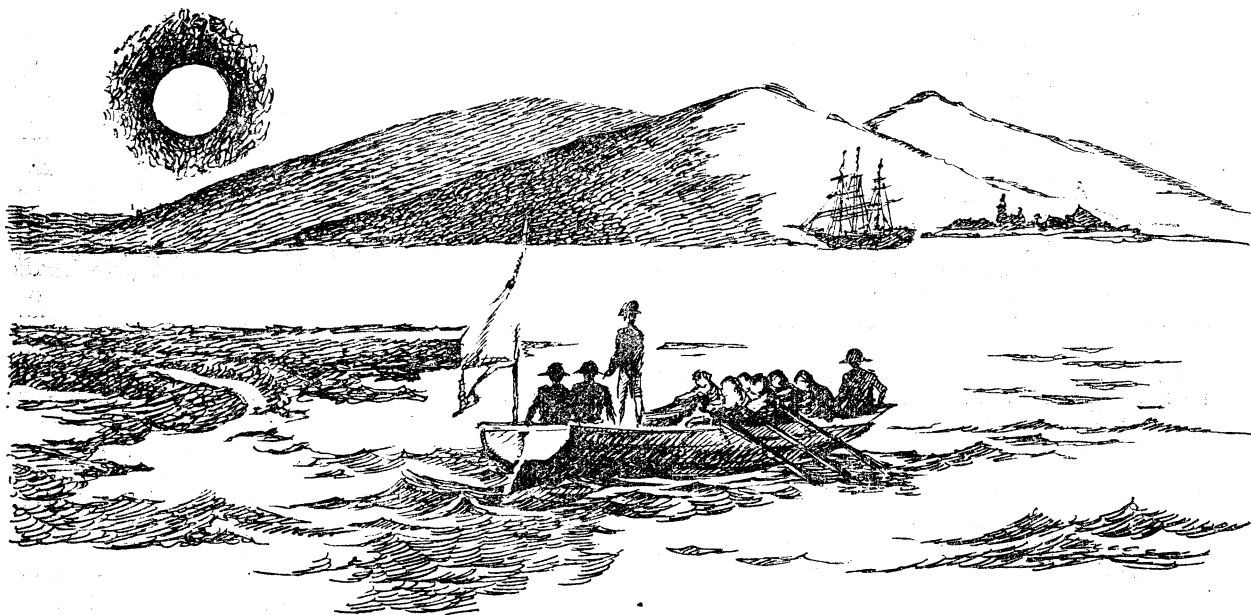
«А они не сказали, хотели испытать тебя. И поняли, что ты трус».

«...А может, все-таки не поняли?» — с горькой надеждой подумал Толик.

Выстрел

Около восьми часов пришли мама и Варя. Веселые. Похвалили Толика за порядок в комнате, а на хмурый вид его не обратили внимания. Были они заняты разговором о каком-то своем деле. Что за дело — Толика сейчас не интересовало. Его грызли все те же мысли: о робингудах и о своем дезертирстве.

Грызли и тогда, когда все уже легли спать.



Шторки были задернуты, но светлая июльская ночь сочилась в щели и сквозь тонкую ткань. Мама и Варя тихо дышали во сне, а Толику думалось, думалось... Наконец, чтобы уйти от своих мыслей, Толик опять взялся за «Острова в океане». Сделал из одеяла шатер и включил фонарик.

...И ушел Толик от своей печали и тревог в другое время, к печальям и тревогам других людей, которые жили давным-давно. Но от того, что людей этих нет уже на свете, их тревоги не казались маленькими и далекими.

Толик прочитал о плавании Крузенштерна вдоль берегов Сахалина и о том, как ошибся капитан «Надежды», решив, что Сахалин — полуостров. О том, как вернулись моряки на Камчатку, исправили корабль, выгрузили наконец злополучное полосное железо и получили долгожданные письма с родины. Как Крузенштерн вздохнул с облегчением, узнав, что жалобы Резанова и обвинения в бунте действия в Петербурге не возымели и можно со спокойной душой плыть в Китай, а затем и домой.

Настроение у моряков было радостное. У всех, кроме лейтенанта Головачева. Лейтенант чувствовал себя нездоровым, и на душе лежала тяжесть. Службу Головачев нес исправно, но в свободные часы был один в своей каюте или рассеянно бродил по кораблю, избегая разговоров.

Однажды, когда шли уже вблизи китайских берегов, зашел Головачев в кают-компанию, где астроном Горнер на столе раскладывал широкие листы — наброски будущих карт.

— Вот и ваше имя на карте, Петр Иванович. Мыс Головачева на Сахалине. Не правда ли, сне греет душу?

— Теперь, как бы рано ни кончилась моя жизнь, какой-то след на белом свете я оставлю, — серьезно ответил Головачев.

— Зачем же вам думать об окончании жизни? Она у вас еще вся впереди!

Лейтенант покачал головой.

Горнер участливо сказал:

— Петр Иванович, с некоторых пор замечаю я, да и не только я, вашу странную задумчивость. Неужели причина ее те давние прискорбные события, о которых пора забыть?

— Может быть, и пора, да ведь не получается, — тихо сказал Головачев. — Как забыть, если вижу каждый день людей, которые считают меня отступником чести?

— Помилуйте, кто же так считает? — воскликнул Горнер. — Господа офицеры искренне озабочены вашим печальным состоянием.

— Так ли? — усмехнулся Головачев. — А не вернее ли думать, что озабочены они другим? Не исключено, что при возвращении нашем будет разбор того случая в Нукагиве, и господа офицеры опасаются, что я покажу против них...

— Кто же так думает?.. Да и какой может быть разбор, когда государь уже прислал господину Крузенштерну высочайшие рескрипты с наградами? Случай тот давно предан забвению, а о вас товарищи никогда не могли помышлять ничего худого. А если уж вы так мучаетесь, не проще ли все выяснить в честном разговоре с господином Крузенштерном?

Головачев недовольно пожал плечом, отчего эпизод его приподнялся как крылышко. В разговоре с капитаном не было надобности, потому что такая беседа уже состоялась два дня назад.

— Петр Иванович,— напрямик сказал тогда Крузенштерн.— Я догадываюсь о причинах вашего расстроенного состояния. Вам кажется, что несогласие с товарищами в том деле вызывает к вам скрытую нелюбовь и неуважение офицеров. Ну, честное же слово, это не так. Защищая господина Резанова, вы были искренни, и одно это уже оправдывает вас...

— Я не ищу оправданий, господин капитан,— сухо отозвался Головачев, но в сухости этой отчетливо проступила жалоба.

— Петр Иванович... Все считают вас прекрасным моряком и достойным товарищем. И право же, не стоит больше об этом...

— Вы правы, об этом не стоит,— отозвался Головачев. Но о другой причине своего удрученного состояния он говорить и вовсе не мог. Причина эта — предательство Резанова.

Много раз приказывал себе Головачев не думать о Резанове. Но мыслям не прикажешь. Обида не исчезла. Тоска приходила все чаще. «Отчего так устроена жизнь,— думал он,— что люди не могут положиться друг на друга и не ведают ни привязанностей, ни благодарности?»

«...В китайский порт Макао «Надежда» пришла 20 ноября 1805 года. Встали на рейде гавани Тейпу. Ждали теперь «Неву».

Лисянский должен был вернуться от берегов Америки с грузом. Предстояло заняться торговыми делами, дабы исполнены были планы Российско-Американской компании.

Но не все верили, что «Нева» придет. Капитан-лейтенант Крузенштерн не верил. Капитан-лейтенант Ратманов не верил. И другие офицеры не верили. Конечно, они не сомневались в своем товарище Юрии Лисянском, но думали, что Резанов, повстречавши «Неву» в американских гаванях, оставит корабль там для своих нужд. А посему склонялись многие к плану, чтобы, подождав еще немного, отправляться к родным берегам, по которым все стосковались без меры.

Но главный комиссонер Компании Шемелин не мог допустить мысли, что экспедиция вернется, не совершив торгового оборота. Ради чего стоило тогда идти кругом света, подвергать корабли, людей и компанейское имущество всяким опасностям?

Шемелин упорно спорил с офицерами и старался не пропускать ни одного разговора, где можно было бы доказать, что «Неву» следует ждать хоть год, хоть два...

Один разговор такой был утром на палубе «Надежды», когда матросы занимались уборкою, а офицеры вышли из кают, чтобы хоть немного глотнуть свежего воздуха.

Но не было свежести. С утра над желтой водой гавани Тейпу, над бамбуковыми парусами джонок, над береговыми крепостями, над изогнутыми по краям крышами Макао растекалась липкая духота. С запахом гнили от воды и чадом береговых таверн.

Ратманов, дергая расстегнутый воротник мун-

дира, помянул всех чертей (морских и сухопутных). Затем, обращаясь к офицерам и более всего к капитану, сказал:

— У господ купцов одни прибыли на уме. А мы здесь варимся заживо.

Шемелин, оказавшийся тут же, вздохнул вроде бы спокойно, однако со спрятанной большой тревогой:

— Опять вы, Макар Иванович, купцов поносите. А о чем же купцам думать, как не о прибылях? Что здесь худого?

— Худое то, что ради выгоды вашей множество народу страдает. В Америке — промышленные люди в бедности мрут, а здесь — мы от жары подышаем и ждем неизвестно чего...

— Подождем еще две недели, как уговаривались,— покладисто сказал Крузенштерн.— Ежели и тогда не будет «Невы», подыдем якоря. На «Надежде» товару почти нет, нечего и начинать торговлю.

— Да не будет «Невы», не пустит ее Резанов! — с досадою воскликнул Макар Иванович.— Хотите пари? Любые тысячи готов заложить, да и голову свою заодно!

Осторожно смеясь, Шемелин сказал:

— Вы, Макар Иванович, столь великим zakładом всех уверить хотите, что «Нева» не придет. Но как вам о сем знать с точностью? А вдруг случится не по-вашему? И большие деньги, да и голова есть вещи немаловажные, зачем же рисковать... Вот ежели бы пари заключить поменьше да попроще, на то я пошел бы с охотою.

— На какое же? — усмехнулся Ратманов.

— Давайте так. Если придет «Нева», ставите вы дюжину бутылок мадеры, дабы поздравить господина Лисянского с благополучным прибытием. Ну, а не придет — тем же расплачиваюсь я.

— Охотно! А кто еще спорит со мною? — с хмырым каким-то азартом отозвался Ратманов.

Крузенштерн, странно глянув на приказчика, вдруг сказал:

— Я согласен с господином Шемелиным, что «Нева» должна вот-вот быть в Макао. Ставлю на том лисицу. Согласны, Макар Иванович?

Другие офицеры, увлекшись, тоже заключили пари — кто за приход «Невы», кто против. С Ратмановым, с Шемелиным и друг с другом.

— Ну, а вы, Петр Иванович? — оборотился Ратманов к лейтенанту Головачеву.

— Уверен, что «Нева» будет,— негромко отозвался Головачев.— Господин Резанов не тот человек, чтобы ради личных удобств задержать корабль и навредить многим людям...

— Ну, каков господин Резанов, нам ведомо... — начал Макар Иванович, но под взглядом Крузенштерна сменил тон.— Ну, так заключаем пари с вами? Что ставите?

— Что угодно,— равнодушно сказал Головачев.— Хоть все меха, что купил на Камчатке.

— Проиграть не боитесь?

— Ежели и проиграю, что за беда? В том ли богатство?

Поспорили каждый на шитую из куниц парку и на десяток лисиц.

Шемелин был доволен. Ему казалось, что пари между офицерами заставит их не так настаивать на скором отходе.

...«Нева» пришла в ночь на 3 декабря через неделю после спора на палубе «Надежды».

Ратманов подошел к Шемелину, поздравил с прибытием долгожданного корабля и подал письмо, которое привезла с подхитившей «Невы» лодка португальских купцов. Письмо было от приказчика Коробичина, ходившего в Америку с Лисянским. Шемелин прочитал его на юте при свете гакабортного фонаря.

Из письма ясно стало, что «Нева» в Америке даже и не встречалась с Резановым.

Не скрывая торжества, Шемелин сказал Ратманову:

— Если бы мы не дождались «Неву» несколько дней и ушли бы в Россию, то признайтесь, Макар Иванович, не послужили бы уверения ваши к великому вреду интересам Компании?

Потом Шемелин записал в своем «Журнале» со смесью удовольствия и досады: «От сих слов хотя заря румяная и показалась на щеках его, но он скоро отверг от себя всякую стыдливость и закрыл громким хохотом с непристойной бранью: «Черт ее знал (то есть «Неву»)! Я так думал!»

Оставим на совести приказчика Шемелина эту сцену. Трудно поверить, что при свете желтого фонаря он смог различить на щеках Макара Ивановича «румяную зарю», если бы такая и появилась. И едва ли Ратманов мог страдать от того, что едва не причинил убытков комиссионерам, которых терпеть не мог.

— Что касается вашей Компании, то я о ее интересах при споре и не помышлял,— сказал он Шемелину.

— Что вы помышляли, а что нет, Макар Иванович, теперь неважно... Чьи ж пари?

— Ваши, ваши! Завтра же расплачусь.

И Ратманов заплатил всем свой проигрыш немедленно, только Шемелина просил подождать, поскольку за мадерой надо было ехать на берег. Отдавая кунью парку и десять лисиц-огневок Головачеву, он хмуро сказал:

— Шемелин вне себя от счастья... Дело в том, что Лисянскому просто повезло: не встретил он Резанова. А то, без сомненья, зимовала бы «Нева» на Кадьяке...

Головачев спорить не стал. Выигранные меха ногой отодвинул в угол каюты. Лег на койку. При упоминании о Резанове опять пришла глухая тоска и не отпускала до утра. А утром сделалась тяжелее прежней — липкая, как желтая духота над гаванью Гейпу. Тоска и обида: не на Резанова уже, а скорее, на всю жизнь, в которой есть место измене и равнодушию.

Оставаться на корабле было выше сил. Головачев рад был случаю съехать с другими офицерами на берег. Под предлогом нездоровья отказался от обеда вместе со всеми в богатой португальской таверне и незаметно оставил шумную компанию.

Пока шли в таверне разговоры и обмен новостями, пока спорил Шемелин с Крузенштерном и с Лисянским о торговых делах, Головачев один бродил по городу.

Полдня ходил он без цели среди больших зданий и среди кривых лачуг, по набережной и рынку с дымом жаровен и криками торговцев. На диковинки и редкости, что продавались в лавках, смотрел без прежнего интереса, на богатство — без зависти, на нищенство — без сочувствия. Лишь в те минуты, когда видел голых, копошащихся среди мусора и мух ребятишек, просыпалась колющая душу жалость. С детства не выносил, когда страдают маленькие. В корпусе несколько раз шел под розги, взявши на себя вину младших кадет...

Сейчас дал несколько монет согнувшимся до земли родителям голодных детишек и ушел поскорее из нищего квартала. Бежал со стыдом. Какой монетой откупишься от страданий человеческих?

Любил о сем предмете говорить и Резанов, когда беседовали они вдвоем. Сетовал Николай Петрович на жестокосердие людское, от которого много на свете боли и несправедливостей. Верил тогда ему Головачев... А сейчас? Сделает ли Резанов что доброе для облегчения жизни промышленных людей и жителей островов американских, как обещал? Или правду говорил Ратманов, что печется его превосходительство лишь о прибылях, потому что сам вложил свои капиталы в дела Компании?

Верилось, что сделает. Николай Петрович — человек добрый и честный. Но... вспоминалось и другое. Как не отпустил Резанов на родину японских рыбаков, принесенных бурей к берегам Камчатки. Не отпустил, несмотря на просьбу Крузенштерна. Объявил, что якобы сделать сего без дозволения государя императора не может... Рыбаки, обманувши сторожей, без пищи и воды, на утлой байдаре добрались до родины, господь бог был к ним милостив... Но почему не мог быть милостив Резанов? Срывал на бедняках досаду за свое неудачное посольство в Нагасаки?

Ну, в конце концов, что Резанову какие-то незнакомые японцы? Не ощутил он сердцем их несчастий и тоски по дому... Но как он мог бросить Петра Головачева? Оставил будто случайного надоевшего попутчика... И обиды этой не изжить, потому что нет ничего больнее предательства...

В лавчонке под бамбуковым навесом сидел старый китаец, крутил в руках кусок желтого дерева и кривой нож. Сыпалась из-под ножа мелкая, как пыль, стружка. Полки были уставлены деревянными драконами, фигурками неведомых зверей, куклами, идолами всяких размеров и бюстами-портретами, что в отличие от идолов и зверей вид имели человеческий и живой.

Два английских матроса вертели в руках бюст и сдержанно гоготали. Были, видимо, довольны сходством. Сходство с одним из матросов было явное...

Неясная еще мысль мелькнула у Головачева. Постоял он, криво усмехнулся, спросил у резчика по-английски:

— А меня сделать можешь?

Китаец заулыбался беззубо, закивал, выдернул из-под себя лист картона, макнул в пузырек с тушью бамбуковую палочку. Пристально и твердо, несмотря на улыбку, глянул на офицера глазами-щелками и фантастически быстро набросал на шероховатом листе его черты — анфас и в профиль.

Головачев, узнавши себя как в зеркале, поразился сходству. Испугался даже. И сразу подумал: «Значит, судьба».

Пришепетывая, на ломаном английском языке китаец сказал, что господин может прийти вечером, заказ будет готов. Головачев кинул ему в задаток португальский пиастр и до вечера бродил среди разноязычного многолюдья или сидел на берегу, где от воды пахло гнилью и человеческим потом. Зашел в таверну, выпил кислого теплого вина, хотя раньше не пил даже в праздники за обеденным столом.

Ближе к сумеркам пришел он в лавку китаецца. Бюст был готов, и Головачев опять вздрогнул, увидев живое сходство.

«Меня не будет, а он останется...»

«Ну, что же, так и надо. Пусть помнит...»

На этом Толик уснул.

Проснулся он поздно. Тупо болела голова, скребло горло. Но Толик жаловаться не стал и поднялся сразу. Аккуратно застелил постель и стал делать все, что велит мама и Варя: сходил за водой и за хлебом, помыл после завтрака тарелки, помог Варе выжать и развесить на дворе выстиранное белье... Хмурой покорностью он как бы казнил себя за вчерашнее.

Мама печатала. Перед обедом она закончила предпоследнюю главу и сказала, чтобы Толик проложил копиркой новые листы. Последнюю порцию. А сама пошла к знакомой машинистке — просить свежую ленту к своему «Ундервуду».

Варя окликнула Толика из кухни:

— Ты не забыл, что хотел сходить на рынок за картошкой?

— Ужасно хотел. Аж вспотел весь, — буркнул Толик. Но сложил в пачку готовую к работе бумагу и пошел.

Когда он вернулся, дома не было ни мамы, ни Вари.

Толик снова сел читать. Царапанье в горле прошло, голова тоже почти не болела, лишь кружилась немного.

Глава называлась «Выстрел».

Толик прочитал полстраницы и услышал, что в наружную дверь стучат. Так, размеренно и аккуратно, стучал лишь Витя Ярцев — когда приходил с поручением от Олега. У Толика замерло и часто застреляло сердце. Он выскочил в коридор.

— Здравствуй, — привычно сказал Витя. И сбился. Виновато махнул ресницами и стал смотреть в пол. Он держал сломанный пополам деревянный меч и разорванный до половины картонный щит. Его, Толика, меч. Его щит.

— Вот, — проговорил Витя. — Олег велел отдать... Потому что мы так решили.

— Что решили? — тихо спросил Толик. Хотя все, конечно, понял. Ох как тошно ему сейчас было...

Витя поднял наконец глаза. И сказал тверже: — Потому что мы тебя исключаем. Раз ты бросил нас в опасный момент.

Толик молчал. Стоял прямо и спокойно. Этим внешним спокойствием, этим молчанием он только и мог защитить себя от стыда и горя. Хоть чуть-чуть защитить.

— Ну... вот. Все, — опять виновато сказал Витя. И положил картон и обломки к Толькиным сандалиям. — Я пошел...

— Хорошо, — отозвался Толик.

— А может... ты что-то сказать хочешь?

— Нет. Зачем?

Это было для Вити уже непонятно. Кажется, он ждал, что станет Толик оправдываться. Не дождался. Повторил растерянно:

— Тогда я пошел.

— Иди.

Витя неловко двинулся по коридору. Толику очень захотелось заплакать. Он даже подумал, как придет в комнату и уткнется носом в подушку... Но сейчас плакать было еще нельзя. И он смотрел в спину робингуду Ярцеву и вдруг вспомнил, как шли они друг за другом по сучковатому стволу.

— Подожди, — сказал он, и Витя быстро обернулся.

— Что?

— Скажи... вашему командиру... — Толик переглотнул. — Он, конечно, смелый и вообще... И все вы тоже. Но если человек тяжесть несет, ему надо помогать, чтобы не сорвался.

— Ты не сорвался, а просто сбежал, — тихо возразил Витя.

— Я не про себя, а про Шурку.

Нет, он не стал плакать, когда вернулся в комнату. Сделалось немного легче от того, что он сумел в чем-то упрекнуть робингудов. Он, Толик, плохой, но и они тоже виноваты... Это было хотя и чахленькое, но все-таки утешение...

Сломанный меч Толик отправил в печку: все равно не починишь, да и зачем он теперь? Хотел сунуть туда же и порванный щит. Не нужна ему теперь эта рыцарская эмблема.

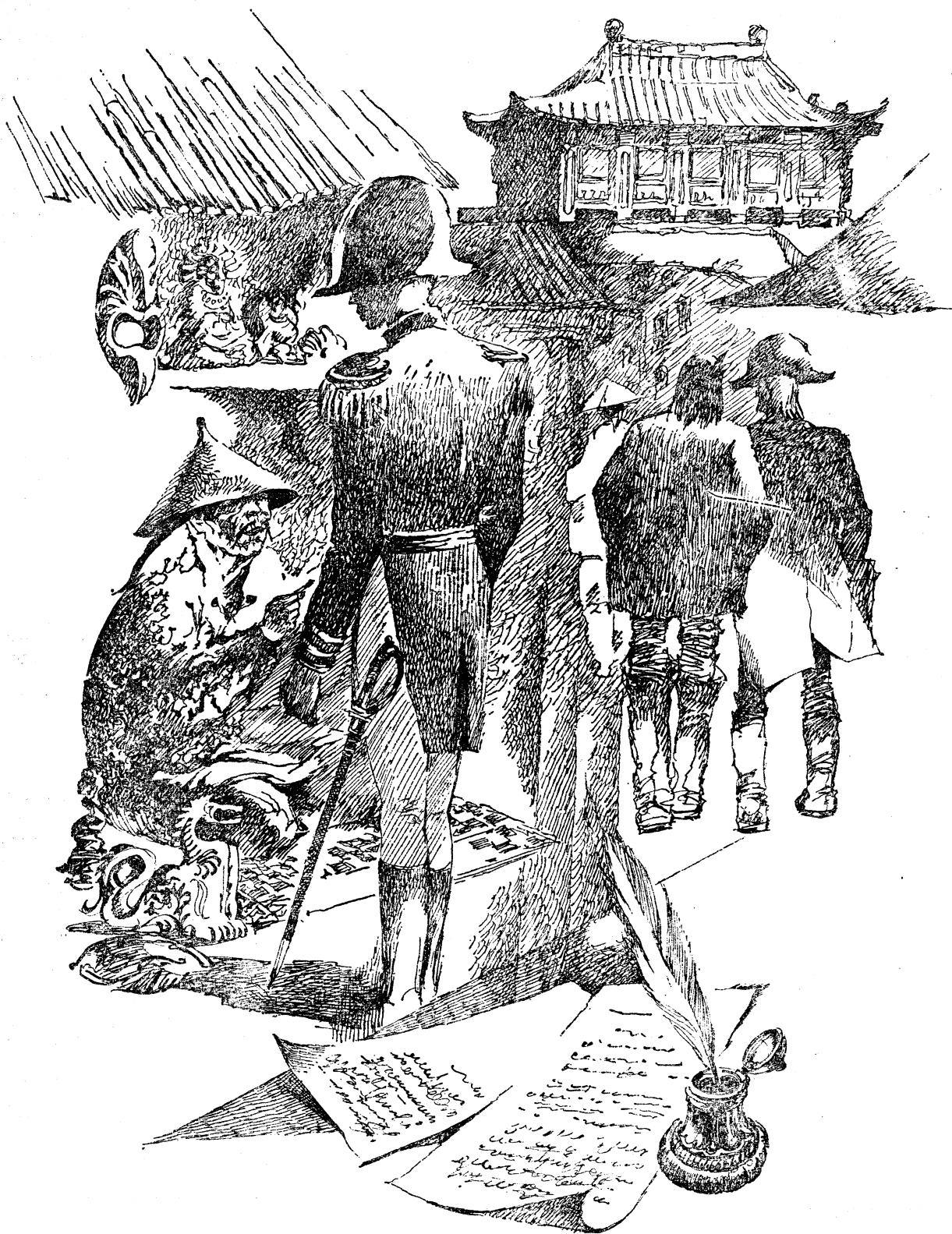
Но в последний момент он передумал.

Увидел в углу щита звездочку и передумал.

Такая звездочка... Как на рукаве гимнастерки... Если сжечь, значит, он, Толик, совсем уже никто? Хуже всех?

Он всхлипнул наконец и начал с сумрачным упорством искать по ящикам конторский клей. Нашел пузырек. Склеил щит по разрыву, придавил к полу, подождал, когда высохнет. Потом, стискивая зубы, прибил щит к сыпучей штукатурке над своей кроватью. Назло робингудам. Назло себе.

Затем он снова потянулся к листам с главой «Выстрел».



«...Корабль мягко качало. В ящике стола, царская палата, ездил туда-сюда пистолет со свинчанным курком. Курок испортился еще на Камчатке, когда были на охоте. Давно следовало отдать в починку слесарю Звягину или заняться самому, да все не доставало времени.

Головачев уже который день подряд писал письма. Родным, капитану и даже государю. Чтобы объяснить, почему же такое случилось с ним, с лейтенантом Петром Головачевым... Вначале слова находились с трудом, а потом словно что-то открылось в душе, и фраза за фразой потекли на бумагу.

Качка не мешала привычной руке. Трудно было только попадать пером в горлышко пузырька с чернилами, а затем перо быстро бежало по бумаге, выводя слова боли и упреков.

В самом деле! Разве не виноват капитан, что затевал ссоры с Резановым? Не будь тех ссор, не ожесточилась бы душа Резанова, не покинул бы он «Надежду», не оставил бы Головачева.

А офицеры? Разве за добрыми словами не прятали они затаенной злости?

А господа ученые? Разве на пути в Зондском архипелаге не ощутил однажды Головачев в своей тарелке едкой горечи, какая бывает в отравленной еде? Кто, кроме доктора Эспенберга, мог подсыпать порошок? Сумасшедшая мысль? Как знать...

Отрывочные воспоминания о случайных словах и непонятных взглядах, о подозрительных фразах теперь складывались в ясную картину. Он, Головачев, был лишний на корабле, его ненавидели и боялись. И дружбы с Резановым простить не могли.

Что же, господа, вы увидите, как поступает в таких случаях человек чести. Пусть будет вам это и упреком и возмездием. И ему тоже.

Испытывая облегчение, будто кончил тяжелую работу, Головачев подписал конверты, перевязал и положил в ящик с пистолетом. Затем вышел на палубу.

Здесь он увидел Шемелина.

— Слава богу, я все теперь кончил,— сказал он, улыбаясь.

— Что же такое вы кончили? — спросил Шемелин.— Конечно, писали что-нибудь?

— Да, писал. Но теперь уже устал и больше писать не буду...— Головачев опять улыбнулся.

— Как же не будете? — засмеялся Шемелин.— Вот почти перед глазами нашими лежит остров Святой Елены. Там вы, без сомнения, найдете новые предметы, достойные вашего пера.

— Может быть и так,— вздохнул лейтенант и отошел.

Шемелин смотрел вслед ему с беспокойством. Он помнил вечер, когда корабль находился против мыса Доброй Надежды. Тогда Головачев передал Федору Ивановичу пакет с бумагами и просил сохранить до Кронштадта. Сказал, что здоровье его расстроено и мало надежды вернуться домой.

Шемелин упрекнул его за столь печальные фантазии, но Головачев ответил, что передал пакет лишь на всякий случай.

— А бюст мне свой отдали тоже на всякий слу-

чай? Кстати, что за странная приписка на пакете? «Бюст мой старшему по чину принадлежит». Кому же это?

— А вы не догадались?

— Уж коли вы, не дай бог, в самом деле умерли бы, то кому же его отдать, как не вашим родителям?

Головачев покачал головой, Шемелин высказал еще несколько догадок, затем недоуменно развел руками.

— Он — для Николая Петровича Резанова, — тихо сказал Головачев.

Шемелин изумился:

— Да ему-то на что? Неужели думаете вы, что записаны в вельможеские друзья?

— Не думаю,— усмехнулся Головачев.— Но он поймет...

Николай Петрович Резанов не узнал об этом разговоре и не получил бюста. Зимой 1807 года, после плаваний и приключений в Русской Америке и Калифорнии, он возвращался в Санктпетербург через Сибирь, простудился и умер. Могила его в Красноярске. Далеко-далеко от другой русской могилы, что затерялась на острове Святой Елены.

...Остров стал из моря суровым нагромождением утесов, и среди этих громадных и сумрачных скал городок Сент-Джеймс, лежащий в узкой долине, казался милым и уютным.

Увидев его, Головачев ощутил спокойствие и даже беззаботность. Словно маленький кадет, которому судьба подарила лишний день каникул. Как будто сперва решено было ехать из родного дома в корпус сегодня и вдруг перенесли отъезд на завтра. Вещи уложены, забот никаких, а впереди еще целый день. Можно не спеша побродить по любимым местам, осмотреть все с ласковой грустью, посидеть в гостини, где громко тикают на камине старые часы с бронзовыми завитушками. Полистать в отцовском кабинете тяжелые, похрустывающие от старости книги...

Так и сейчас.

Съехав на берег, ходил Головачев по тихим улицам один и со спутниками: с офицерами, с Шемелиным, с доктором Эспенбергом (забывши недавнюю ссору с ним и упреки в попытке отравления). Был спокойно-весел. С улыбкой рассказал Федору Ивановичу, как видел в окно одного дома молодую мать, которая забавно играла с девочкой-малюткой. Признался, что детей он очень любит. В доме у майора Сайла, где Крузенштерн снял квартиру и офицеры были в гостях, Головачев, как мальчик, возился с хозяйскими ребятишками, бегал с ними по комнатам, играл в прятки. Особенно много веселился он с пятилетней девчушкой Джесси: вертел ее на руках, болтал с ней, угощал конфетами...

Следующим утром, в последнем письме, написал он, что именно эта девочка подарила ему еще день жизни...

Когда ясное небо уже было испещрено звездами и теплый ветер мягко трогал деревья, Головачев вернулся на «Надежду». По-прежнему спокойный и ласковый со всеми. С ночи заступил он на вахту и был на ней до восьми утра.

Утром седьмого мая, когда многие уже поднялись на палубу, а Крузенштерн съехал на берег, Головачев весело разговаривал со всеми, кого видел, шутил с Шемелиным, подталкивая его под бока.

— Да полно вам,— добродушно ворчал Федор Иванович.— Идите, играйте вон с молодыми.

Головачев смеялся.

В восемь часов он прошел к себе в каюту.

День каникул был окончен, ночь тоже прошла, наступило утро прощания. И тяжелая тоска разом упала на Головачева. Как в давние времена при прощании кадета Пети с домом.

...Остались считанные минуты. Лошади уже поданы к крыльцу, и, чтобы сократить неизбежную и давящую до слез печаль, Петя начинает торопить время. Пусть уж скорее все кончится. И тоска эта кончится... Он уныло топчется на крыльце, пока дворня укладывает в бричку баулы. Брат, которому надоела деревня и который рвется в корпус к товарищам, устроился уже в коляске. Пора и ему, Пете. Скорее уж — проглотить комок слез и — в путь...

Он вынул из ящика пистолет.

Тяжелый кремневый пистолет был заряжен еще со времен Камчатки. Так и не выстрелил, когда отвалился курок. Но сейчас курок был не нужен. Фитиль надежнее, не случится осечки.

...«Не надо!» — отчаянно подумал Толик.

Он знал, что это случится. Случилось сто сорок два года назад. Но все-таки надеялся на чудо.

«Не надо»...

«Не надо!» — мысленно крикнул себе Головачев. Тот маленький Петя крикнул, на крыльце.— «Не хочу уезжать!»

Он качнулся назад, к двери.

Вбежать в родные комнаты, остаться в них навсегда! Вцепиться в столбики перил на лестнице, в шкаф, в кровать. Стиснуть закаменевшие пальцы, чтобы не оторвали, не увели!..

Но все равно уведут. Уговорят, заставят. Скажут: «Надо». Никуда не спрячешься, никуда не уйдешь от этого железного «надо». Он, задержав всхлипы, последний раз обнимает маменьку и отца, на секунду утыкается лицом в грудь старой няньке и деревянным шагом идет к бричке...

Непослушными пальцами Головачев оторвал от платка полоску и скрутил в жгут. Выбил из кремня искру. Фитиль затлея. Головачев помахал им в воздухе. Появилось странное ощущение: будто не он все это делает, а кто-то другой. Он же смотрит на этого другого и снисходительно усмехается.

С этой усмешкой Головачев сел на стул между койкой и комодом. Голова гудела от торопливо выпитой бутылки ликера.

Головачев уперся правым локтем в комод, а ствол поднес к губам.левой рукой придвинул фитиль к затравке...

...Толик будто ощутил на губах вкус холодного, пахнувшего пороховым нагаром железа (так пахли стволы у охотничьего ружья Дмитрия Ивановича).
«Не надо! Не...»

Толик полчаса лежал ничком, и в ушах звенело от тишины, как от прогремевшего выстрела.

Потом он сказал лейтенанту Головачеву:

«Зачем ты это сделал?»

Головачев ответить не мог.

«Запутался, да? — зло спросил Толик.— Значит, если человек запутался, сразу пулю себе в глотку?»

Молчал лейтенант, похороненный с воинскими почестями на острове Святой Елены. Не было его. И не было тех, кто его знал и мог хоть что-то объяснить.

«Ну, а я-то при чем?!» — крикнул себе Толик. Но едкое чувство виноватости не прошло.

«Я тоже запутался,— понял Толик.— Этим мы похожи...»

Подождал Султан, вопросительно махнул хвостом — Нет,— сказал Толик,— не бойся. Я стреляться не буду. Черта с два...

Но что же все-таки делать? Как снять с души эту ржавую корку вины? С кем посоветоваться?

«С Кургановым,— подумал Толик.— Отнесу ему повесть и заодно все расскажу. Он поймет...»

Стало легче. Толик встал. Поднял с пола молоток и еще раз ударил по гвоздям, которые держали на стене щит с эмблемой. Так ударил, что вдавил картон в штукатурку.

Потом он взял Султана и пошел с ним купаться. Не на Военку, а к другой запруде, у моста. Здесь он повстречал вернувшегося в город Назарьяна. Они долго болтухались в теплой мутноватой воде.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ

КРОССВОРД «АЛИСА И ДРУГИЕ» (См. № 6)

Ответы и источники

По горизонтали: 2. Сорокалет («Черный саквож»). 5. Бумага. 7. Аустра («Монументы Марса»). 9. Ретрогенетика («Ретрогенетика»). 10. Каракорум («Гуси-лебеди»). 11. Мангодыня («Сто лет тому вперед»). 13. Бревно («Геркулес и гидра»). 14. Комгусь («Миллион приключений»). 15. Руслан («Черный саквож»). 16. Биоформ («О некрасивом биоформе»). 18. Банка («Когда вымерли динозавры»). 19. Копилка («Копилка»). 22. Крысс («Сто лет тому вперед»). 23. Флип («Сто лет тому вперед»). 24. Шкаф («Шкаф веземной красоты»). 25. Питер («Гуси-лебеди»). 28. Пушкинская. 29. Снегурочка («Снегурочка»). 30. Венера («Девочка, с которой ничего не случится»). 31. Мутант («Мутант»). 32. Шквал («Агент КФ»). 33. Вячик («Вячик, не двигай вещи!»).

По вертикали: 1. Сулима («Сто лет тому вперед»). 3. Копенгаген. 4. Грубин («Жильцы»). 6. Геракл («Миллион приключений»). 8. Удалов. 10. Ксения («Домашний пленник»). 12. Яблоки («Сто лет тому вперед»). 17. Митина («Сто лет тому вперед»). 19. Коткин («Глаз»). 20. Трепанг («Половина жизни»). 21. Герасик («Лиловый шар»). 26. Химера («Загадка Химеры»). 27. Бронтя.

В № 6 неправильно назван автор кроссворда. Кроссворд составил Эдуард Белов (Москва).



РУБРИКУ
ВЕДЕТ ПИСАТЕЛЬ
БОРИС РЯБИНИН

«Обращаюсь к Вам за помощью... Хочу спросить: наказываемся ли жестокость, издевательство над животными? Сосед у нас (фамилия его Ганорицкий) каждую субботу приносит штук по 8—10 кроликов. Я никогда не знала, что кролики плачут, как дети, а вот узнала и услышала. Знаю я то, что кроликов держат для мяса. Но здесь я хочу Вам описать, как это делается. Он берет кролика и живьем привязывает за задние лапки, делает поочередно на обеих лапках круговые надрезы и начинает сдирать кожу. Кролик плачет, как ребенок, передние лапки прижимает к животу, а головой из стороны в сторону мотает, а он дерет-тянет вниз. Уже и шкурка закрывает голову, а кролик все еще жив. Это все происходит перед моим окном. Я несколько раз пыталась остановить, так этот Ганорицкий бросается с ножом на меня. Иногда эту сцену наблюдают его племянники, которые усердно приносят ему по очереди кроликов, а дети эти школьного возраста. Часа два, пока он со всех с них, то есть с кроликов, не сдерет кожу, во дворе у нас плач такой, что я не знаю, куда деваться...»

КОГДА ПЛАЧУТ КРОЛИКИ

Борис
РЯБИНИН

Вот такое письмо доставила мне недавно почта. Пришло оно в адрес журнала «Уральский следопыт», на мое имя. Пишет женщина из Херсона (под письмом стоит фамилия и адрес, но я умышленно опускаю их, дабы не навлечь на писавшую каких-либо неприятностей. Увы, так бывает).

Письмо нельзя читать без содрогания. Факт потрясает.

В письме из Херсона сообщается также, как люди бросают на произвол судьбы собак, и те, несчастные, бродят как потерянные (да и вправду потерянные, только не по воле случая, а по злому умыслу, бездушью), пока не станут жертвой какого-нибудь жестокосердного негодяя; а то еще бывает — «берут щенка и сразу привязывают на цепь и до смерти не спускают с цепи». В заключение говорилось: «Добейтесь, пожалуйста, закона, чтобы судили и наказывали за издевательство над животными. И надо много писать, чтобы дети были друзьями животных. И тоже боролись с жестокостью».

Не буду повторять общезвестные истины: сколько велико значение нравственного воспитания, особенно велико — для детей, подрастающего поколения, правильное общение с миром живой природы, доброе, сердечное отношение к бессловесным и незащитным существам слабее тебя. Так и только так вырастают люди высоких моральных принципов, благородного ума, люди в полном значении этого слова.

Но возникает вопрос: доколе мы, наше общество, будем снисходительно относиться к таким фактам? Примиренчества здесь не может и не должно быть. Жестокость и садизм надо искоренять, выжигать каленым железом! Только так!

Почему же так редко применяются, если не сказать — почти совсем не применяются меры сурового административного и судебного (уголовного) воздействия на лиц, подобных херсонскому охотнику до свежей крольчатинки? Почему молчат товарищеские суды (а они молчат, да, да!), почему юридические органы, милиция поразительно неохотно оформляют (точнее — почти не оформляют) дела на жестокосердных и алчных,

уличенных в безнравственных, вредящих делу воспитания и роняющих человеческое достоинство людей типа гр-на Ганорицкого. Не кладет ли это тень на всех нас?

А вот еще факт. Женщины принесли заявление:

«14 апреля 1984 года. Ю. Гаврилов, проживающий по адресу: г. Свердловск, ул. Чайковского, 87, кв. 29, заманил к себе в квартиру собаку-дворняжку по кличке Пальма, которая жила во дворе и постоянно играла с детьми, и сбросил ее с 4-го этажа, с балкона, на асфальт.

До этого случая он постоянно избивал собаку. Жильцы дома, сидящие на лавочке у подъезда, слышали, как у него в квартире собака громко визжала, видимо, он опять ее избивал.

Упав с балкона, собака стукнулась спиной о поребрик и сломала позвоночник и лапы. Гаврилов спустился вниз и стал пинать ее ногами. Затем сунул в мешок и бросил в контейнер с мусором. Какой-то мужчина пошел выбрасывать мусор из ведра, услышал стон собаки, лежащей в мешке, вынул ее из усорного ящика, освободил от мешка и положил на землю. Дети сделали носилки и отнесли на них собаку в пустой гараж, пытались ее накормить и напоить, но она не смогла поднять голову.

Дети (человек 20), собравшись все вместе, обратились за помощью к участковому инспектору милиции Михаилу Юрьевичу Пехову. Сначала они показали ему искалеченную собаку, а потом привели на квартиру к Гаврилову. Спустя некоторое время Пехов вышел из квартиры и сказал собравшимся жильцам, что собака ничья, никому не нужна и всем мешает, поэтому ее убили. Он сообщил, что Гаврилов спал пьяный. Он его разбудил, приказал убрать собаку с глаз. Гаврилов вместе со своим зятем вышел след за участковым, затокал искалеченную, но еще живую собаку в мешок на глазах у детей, и они с зятем пошли к троллейбусу. Дети проследили, что они сошли на остановке Самолетная и скрылись за гаражами. Дети прошли вдоль гаражей, надеясь найти и вылечить собаку, но найти ее уже не смогли.

Ю. Гаврилов часто меняет место работы, систематически пьянствует вместе со своей женой, которая рабо-

гает на инструментальном заводе. Постоянным шумом во время пьянок мешает соседям. Просим Вас помочь нам наказать Гаврилова за недопустимую жестокость, травмировавшую не только детские души, но и взрослых. Дети должны знать, что такой садизм не может остаться безнаказанным».

Под письмом полтора десятка подписей невольных свидетелей безобразного поступка Гаврилова.

Жаль, что участковый не усмотрел в поступке Гаврилова ничего противоречащего законности и порядку. Вероятно, он имел в виду, что бродячих животных не должно быть, а Пальму можно было отпести к бродячим («бесхозным»), хотя, строго говоря, хозяин у нее был — дети этого дома. Но если даже встать на эту позицию, все равно — любая жестокость недопустима (тем более на глазах несовершеннолетних, подростков и малышей) и должна наказываться. Призываем наши органы порядка не проявлять здесь снисходительности.

Есть еще один вид жестокости, прикрываемый научной «необходимостью». Сотрудники ветлечебницы Свердловского сельскохозяйственного института жаловались: двое ученых-медиков договорились с институтом, что будут на его базе готовить научную работу, а для этой цели оперировать подопытных животных. Две собаки погибли сразу же, что оказалось, как сказано в заключении, «связано с передозировкой препаратов, применяемых для наркоза» (элементарное невежество или небрежность?); третья собака после полостной операции сутки находилась в закутке, лежала в грязной сырой клетке без надзора и тоже погибла.

Какой пример студентам?

Именно это больше всего расстраивало работников ветлечебницы. Примечательно, что один из указанных ученых мужей сам добывает собак для опытов, каким путем — никому не известно. Сотрудников ССХИ очень тяготила вся эта история, но сказать вслух и заявить протест они почему-то не решались.

В связи с этим должно заметить: в ряде союзных советских республик — Эстонии, Армении, Грузии, Казахстане и других — принят специальный закон, карающий за безразличные действия в отношении «братьев наших меньших» — четвероногих, пернатых и всех остальных; хороший, нужный, правильный закон; но, как ни странно, до сих пор этого закона нет в РСФСР, на Украине, в Белоруссии. Парадоксально, что в свое время рекомендация дополнить уголовные кодексы союзных республик соответствующей статьей о наказании за жестокое обращение и неоправданное убийство животных исходила из Москвы, а вот Российская Федерация до сих пор не имеет такого закона. Правда, есть приказ Министерства внутренних дел СССР № 234, от 22 августа 1967 года, направленный на пресечение и предупреждение подобных действий и распространяющийся на всю территорию СССР, но он не заменяет полностью закона (и знают его немногие). Все попытки ввести такой закон у нас в РСФСР почему-то по сей день натываются на препятствия в виде бесконечных «согласований» и «уточнений», а то и откровенных возражений близорукых юристов; в итоге нужное дело тонет в какой-то непонятной, противоестественной для наших принципов и вззрений бюрократической трясине. А закон нужен.

Вот и тов. Щербатов из города Междуреченска Кемеровской области ратует за то же:

«Необходимо, чтобы у нас установили уголовную ответственность за бесчеловечное отношение к животным. Ведь так и растут будущие насильники и убийцы. И сообщите об этом через печать, поскольку данный вопрос волнует многих и многих...»

Таких писем — тысячи.

Думается, что дело это должны незамедлительно подержать всем своим авторитетом органы народного просвещения, высшей и средней специальной школы, здравоохранения, комсомол. Да все без исключения!

ВЫСТРЕЛ В СЕРДЦЕ

Сами авторы назвали свой рассказ-быль просто — «Жулик».

...Светлой майской ночью нас разбудил выстрел за окнами и отчаянный собачий визг. Выскочив на улицу, Сергей увидел, что его Жулик с залитой кровью мордой крутится на одном месте. В воздухе еще не рассеялся запах пороха. Сергей упал возле ослепшей собаки и, обхватив ее руками, заплакал.

С Жуликом я был знаком уже два года — с тех пор, как стал другом его хозяину. Я помнил дождливую осеннюю ночь, когда к нашей лесной избушке подошел медведь. Видимо, его заинтересовала лошадь, запертая в конюшне. Четверо собак с визгом забились под нары. Жулик грудью распахнул дверь и исчез. Схватив ружья, мы выскочили вслед за ним. Рядом с избушкой в кромешной тьме слышался яростный лай. Мы бросились туда, но лай стал быстро удаляться и скоро затерялся в шуме дождя и говоре реки. Мы вернулись в избу. Спустя полчаса под дверью послышалось царапанье. Открыли — появился Жулик, мокрый, весь в грязи. Он отряхнулся, постоял и спокойно улегся у порога. Эта история повторялась раза три и всегда одинаково: собаки прятались в избе, один Жулька, едва услышав приближение зверя, вылетал на улицу и прогонял гостя. После очередного переполоха мы сняли с морды Жулика клочок медвежьей шерсти. Напасть на медведя, да еще в темноте, решится не каждая промысловая лайка, даже имеющая опыт медвежьей охоты. У Жулика такого опыта не было. Зато он ухитрялся гнать и останавливать лося в такое время зимы, когда собаки с трудом прокладывают себе дорогу даже по лыжне. Другие собаки могли потерять уходящую «верхом» белку или куницу, ошибиться, облаивая «пустое» дерево, но на чуть глуховатый жерный лай Жулика можно было идти уверенно: зверь или птица здесь.

Мне не раз приходилось слышать, что собака, выросшая у одного хозяина, нередко приобретает некоторые черты его характера. Если это справедливо, Жулик может служить прекрасным тому примером. Азартный на охоте, безрассудно смелый, он становился надежным другом тех, кто сумел завоевать его доверие.

Внешность Жулика самая заурядная. Он скорее похож на дворнягу, чем на лайку. Красили его только глаза: карие, ясные, со спокойным и внимательным выражением.

И вот теперь эти чудесные глаза залиты кровью, изуродованы, обожжены выстрелом в упор. Больше они не засветятся по-человечьи, когда вечером у костра пес положит голову тебе на колени. Какой-то мерзавец или просто трус сделал свое подлое дело.

Жулька постепенно привыкал к слепоте, стал реже натывать на предметы. У него появилась манера на бегу высоко поднимать лапы, чтобы не споткнуться обо что-нибудь. Мы с женой взяли его к себе: Сергею в тайге он больше не мог быть помощником. Словно поняв, в чем дело, Жулик с первого дня признал наш дом своим. Целыми днями он лежал у каютки, подставив зимнему солнцу свою изувеченную морду. Характер у него стал мягче, ласковее. Прежде он неохотно позволял ласкать себя, только сам изредка в виде приветствия ткнулся на бегу носом в твою ладонь и промчит дальше. Теперь он по несколько раз в день приходит к кому-нибудь из

нас, трогает лапой и терпеливо ждет, когда его погладят. А в остальном Жулик не изменился. Он так же драчлив и задирист, причём собаки отступают перед ним, хотя по силе он уступает многим. Он по-прежнему нетерпим к посторонним людям возле своего дома и не обращает на них ровно никакого внимания в любом другом месте, пока они не заденут его. Только теперь он чувствует приближение чужих к своим владениям гораздо раньше, чем остальные собаки.

Жулик свялся с слепотой, но не примирился со своей участью. Однажды он исчез из дому. Поиски ни к чему не привели. Через неделю, когда я почти перестал надеяться, что он жив, жена сказала: «А все-таки Жулька с его характером пропасть не мог, хотя через месяц, но он вернется». Жулик пришел через десять суток ночью. В эту ночь Сергей возвращался из леса. О том, что пес исчез, он ничего не знал. Но в 30 километрах от дома ему сказали, что на днях видели рыжую собаку, очень похожую на Жулика. Повизгивая, она долго металась по реке перед огромной наледью, пытаясь найти сухую дорожку, но всюду наткнулась на воду. Так и не найдя перехода, она повернулась и ушла.

Сергей думал о Жулике. И вдруг, уже подходя к селу, услышал в стороне от дороги в густом ельнике Жулькин голос. Пес работал: он нашел дичь и теперь призывал хозяина. «Неужели померещилось?» — подумал Сергей, но на всякий случай свистнул. Скоро на дороге появился Жулик и с радостным визгом бросился к Сергею.

Так и не смог рассказать нам Жулька, зачем он ушел из дому. Или соскучился по старому хозяину? Но Сергея он видел очень часто и никогда не делал попыток уйти за ним. Скорее всего стосковался пес по своей работе, по вольной лесной жизни.

Мы написали о Жулике свердловским врачам-хирургам. Они откликнулись. Один из лучших окулистов сделал Жульке операцию: пересадку роговицы. Сотрудники хирургического института с теплым человеческим участием отнеслись к его судьбе. Трудно высказать, как мы благодарны им за это.

Сейчас еще рано говорить, чем окончится лечение, — ранение было слишком серьезным. А пока вечерами мы с женой сидим у настольной лампы. В печке потрескивают дрова, на стене пляшут отсветы пламени. Подходит Жулик, наш верный Жулик, ложится у ног, и перед нами встают сумерки, заснеженный лес и в настороженной тишине — знакомый глуховатый лай.

...А у Сергея растет дочка Жулика — Крошка, очень похожая на отца.

Арк. ЛИШИНА, О. ЛИШИН,
с. Всеволодо-Благодатское

«Выстрел в сердце» — так назвал бы я этот рассказ. Стрелял-то неизвестный в собаку, а попал в людей, в человека. Вспомним, как рыдал Сергей, увидав, что дружок его ослеп; а ведь Сергей не неженка, не слаонервный какой-нибудь — в тайге привык ко всяческим испытаниям. Значит, попал этот выстрел ему в самое сердце. Да всякий любящий животных отнесется к этому так же.

За что же пострадал Жулик? За что преданность оказалась наказана слепотой (а могла и смертью)?

Вспоминаю слова народного артиста СССР Сергея Образцова, ревностного защитника природы и всего живого: «Если вы никогда не любовались, как играет котенок, не заглядывали в глаза щенку... вы потеряли очень много! Ведь животные — это целый мир, прекрасный и зовущий нас мир!...»

Нет, тот, стрелявший и предпочеший укрыться в кустах, не заглядывал в глаза щенку. Думаю, он и лю-

дял-то не поглядит прямо в глаза — отведет взгляд в сторону. Кто он, кого и человеком-то назвать не хочется: браконьер, скуки ради пустивший заряд в домашнего друга, или просто охотник попасть в белый свет, которому все едино, в кого бы ни попасть, только попасть себе на потеху? А ведь среди них найдутся и такие, которые не задумаются выпалить в избушку, когда в оконце виден свет. Такие случаи известны.

Конечно, людей надо воспитывать, но не помешают и другие меры. Уже давно общественность предлагает устроить хранилища, где ружья будут стоять до открытия охоты. И никаких исключений. Начинается охота — пришел за ружьем, кстати, поглядят и на тебя: в полном ли порядке, не под хмельком, не проптрафился в чем-то — получай. Отошла охота — снова поставь на место. Тогда всякий прощельга не возьмет ружье в руки и не пойдет палить направо и налево. Дельное предложение. Мы поддерживаем его.

А врачам — спасибо. Они — настоящие люди. Может быть, Жулик снова увидит свет. Представляете, какая это была бы радость для всех...

ТРИ НОВЕЛЛЫ

Василий ЮРОВСКИХ

РАССТАВАНИЕ

Все мутно-серое — апрельское небо и во всю ширь побережья разлив реки Исети. Скрашивает утро влажно-ласковый ветер с южных увалов, а еще искусник в песнях — скворец. Он примостился на тополе, затонувшем до «колен» в неприветливо-бурливом водополе. На все лады и птичий голоса радуется искристо-черное дитя весны; рядышком на сушине скромно и молчаливо сидит пара свиристелей, похожих на школьниц с задорными хохолками-косичками.

По городу теперь нигде не брвчат кочующие стаи симпатично-доверчивых птиц, благодарных шадрицам за ежегодно урожайные сибирские яблони. А вот эти, невесть откуда прилетевшие на тополину, нежат себя и теллом, и пением тех, кого они случайно дождались по здешним лесам и дугам. Ну где и когда таежные жители услышат свисты золотистой иволги, сердечную скороговорку перепелов — «любить хочу, любить хочу», чуть хриповатые перескрипы коростелей и лихое пение чечевиц? Может быть, какие-то птицы и будут жить с ними бок о бок по хвойным уремам, да ведь до летнего гомона далеко-далеко. А тут нате, в одном «лице» собралось столько певунов! И никто — ни воробьи, ни сороки, ни балаболки-галки — никто не перебивает скворца, словно учителя на уроке.

...На восток, где за мороком не видать солнца, несет река талые воды с Урала и окрестных увалов, а теплень незаметно приближает день расставания свиристелей с гостеприимным городом. И что там впереди на перелете к жилью, что случится в жизни, вряд ли думают о том нарядные птицы, как и мы в годы отрочества вовсе не тревожили себя размышлениями о трудной и сложной жизни на белом свете.

Свиристели почему-то паноминуют мне моих одноклассников, столь различных и столь одинаковых в желании учиться. В памяти они живы по сей день, и хотя разлетелись непостижимо широко по огромной стране,

до каждого можно дозваться письмом или телефонным звонком. А учителя наши «поредели» и с каждым годом становятся все дороже и роднее. Даже в ненастные дни, в годы военного и послевоенного лиха, несли они нам свет разума и тепла.

Поседали, изморщились мы, давние школьники, стали не только родителями, а и дедами и бабушками, однако и теперь ищем и находим поддержку в наставлениях учителей.

Расставание неотвратимо, а встречи все реже и реже, но память не дает нам скудеть душой, запутаться в дебрях жизни. Ведь столько — куда больше, чем скворец свистел! — спели нам мудрых песен наши учителя.

ХАХАЛКИН ХАХАЛЬ

И невеликой речонке Канаш улыбнулась земля, повелела тростниковому Хахалкину болоту поить-полнить светлой водицей затонувшую в ивниках речушку. Она бы и не добежала по той лоцинке до Канаша — столько полей и лесов на пути, но родники подживляли ручеек, и он пробился к подгорью. Даже осенью, в октябре, текучая вода взбудораживается и, огибая мшистые комли осин и берез, вскипает у валежины и пенится водопадом у калинового куста. А чтоб солнце, охочее летом до влаги, не вышло ручей, упрятали его тальники, черемуха, калина, смородина и рослый тростник.

В густоке осинника да тальника, где бойчее и горворливее ручей, облюбовал себе жилье матерый белячина. Всякой еды здесь полным-полно: справа, за осинником, клевернице, вдоль дорожки — покосные поляны; вправо — жнивье овсяное. Что душе угодно, то и кушает зайчина: погрызет коры с молодой осинки, отведает и черемуховой, а свежие веточки тальника похрустывают, словно сахар.

Больше всего нравится седуосому зайцу сидеть у поваленной березы, где островком зеленым высятся кочка. Обросла она осокой-шумихой и лабазником, и никому он на ней недосыгаем. Ручей раздвоился руслом, оглаживает неподатливую кочку-островок, поет-наговаривает хозяину урочища. И порой такое сболтнет — заяц начинает приплясывать на островке, потом потянется к прозрачной бочажинке, точь-в-точь круглое зеркало.

Как не любоваться ему на самого себя! Эвон какие уши — каждый шорох слышать. Лист с березы только-только слетел и еще играет в воздухе, а зайчина уже знает о нем; закачается тростник цветом переспевшей ржи — козлиная семья-троица выбирается на отаву к стожкам сена; шевельнется ушастая сова на поваленной осине — и ему понятно, что это не кто-то там чужой, а соседка — ночная охотница. Он ее однажды в упор разглядел. Безобидная для зайца птица, вороны мельче, но пером красивее. Охристо-рыжеватыми перьями темные пестринки, а самое приятное для него — длинные пучки перьев, совсем, как заячьи уши. Вот голоса ее он вначале, когда она поселилась на ручье, испугался. Только выбрался на зелены, как из темноты кто-то глухо зачитил:

— Хо-чу, хо-чу, ху-ху...

Прижался косою, попригляделся, а то совсем неслышно кружится низко ушастая сова и вопит: я-де есть хочу, есть хочу. Эвон вырнула к зелени, спалапа мышь да с ней в когтях на осину-сломыш.

Вдоль ручья немало матерущих осин, и коли там перестук зачинается — значит, иссиня-черный дятел-желна завтракать вылетел. Как-то зайчина устроился днєвать под наклонным комлем осины, а вскоре ее с комля до верхинки давай отстукивать желна — кора, щепки, труха — все на зайца полетело. И он сам себя не признал, когда в зеркальце ручья заглянул. Будь сейчас

зайчиха, не иначе спросила бы: «Где ты, косоглазый, бесился, валялся?»

Бывает, нет покоя от черных воронов. Усядутся друг против друга на осине и затают: «Дурак, дурак, дурак, корк-клинь, клин, клин», затем — «курр, курр, курр». Да нету же по ручью кур, чего базлат! Им на глаза не попадайся: засекут и начинают вертеться над зайцем и спрашивать друг друга: «Дохлый? Дохлый?» «Я дохлый?!» — рассердится зайчина и махнет в лабазник под калиновый куст. Зато шибко ласковы доверчивые синички-гаечки. Повиснут на ветках вниз головой, еду зысматривают и между делами вполголоса нахваливают его:

— Мягонький, мягонький, мягонький!

И зайчина с уважением косит глаз на свои сивые задние ляжки. Еще бы не мягонький! Вон как раздобыл, не то что сухопарые козлы! Тем бы все скакать-прыгать выше кустов. Ишь, опять раздурелись и между стожками сена носятся наперегонки.

Белячина шажком к спокойно-гладкому бочагу пошел, сел под черной смородиной и сам себя в лесном зеркальце разглядывает. Не чудо ли: тройной подбородок, аж губы раздвоило, нос курносый, а зубы-резцы? С любой осинки или черемшники кору сдерут, любую веточку схрумают — знай глотай пищу! Что ни говори, красавец! И сорока с березки свесилась, лопочет:

— Хахаль, хахалкин хахаль!

Она, сорока, вовсе не оскорбительно, а уважительно прозывает соседа хахалем. Выше по ручью и верно живет у Хахалкина болота зайчиха. В общем-то симпатичная, нравится зайчине. Однако почему-то ближе к сплошной сырости выбрала себе жительство. Ноги не бережет, ревматизм или еще какую простуду заимеет, а ноги ох как беречь надо! Они всякий раз выручают хахалю — будь то прилипчивая, гончая или хитромордая лиса, а то и страшно зоркий орел. Недаром же и детки все в него: пустрые, умные, тепло-мягкие и чуткие к любому звуку-голосу. Не зайчата, а хахалята!

ГУСИНОЕ

И сродный брат Иван, и сын Володьша спали так безмятежно, словно и не было вчерашнего уговора — идти на берег озера, где загады мы вполне искусно изладили скрадки из пластов дернины. Может быть, убаюкала их вечерняя гроза, увенчавшая конец солнечного «бабьего лета» молниями во все небо и бездонным грохотом низкого грома? Может быть, им показалось, что до холодов и мутного ненастья далеко-далеко?

«А ведь они правы! — подняла меня с постели горькая догадка. — У них все-все впереди, а вот моя жизнь пошла на убыль, с каждым днем ближе и ближе к вечному сну...» И не тревожа ребят, я живо и неслышно собрался и быстро пошagal через клубную площадь к озеру. Оно за последние годы скатывалось на дно огромного «блюда» и сейчас в предрастветье напоминало льняную скатерть, аккуратно разостланную сохнуть после стирки прямо на вновь засвежевшую траву.

Присел я на обломки рыбацкой лодки, смотрел, как дымится-обсыхает скатерть-озеро и как южный ветер из-за бугристого побережья болота Гармино относит туман в село Пески — мамину родину. И мысли неотступные о маме, о той поре, когда она босоногой заходила в светлую воду с плотным песчаным дном, черпала ладошкой ее и пила с таким же вкусом, как пила дома парное молоко из глиняной кружки. А вода была чистая: в озере жили и окуни, и чебаки, и пескари. В темной зелени круглого камыша по западному краю выводили своих деток лебеди.

Время, неумолимое время...

И вдруг над бором появилась гусиная стая. Она снизилась туда, где почти сто лет назад плескалось тоже озеро, и называлось оно не как-то, а именно Гусиное. Только что, что делать там даже одному дикому гусю, а тут не менее сорока пар? За мою жизнь, как я запомнил Гусиное, его всегда считали болотом, хотя в разговорах именовали озером. Пожалуй, годков десять минуло, когда последний раз приезжали к нему с братом и сыном. Они крались с ружьями к махонькой чистинке в тени краснотала, я собирал поздние грузди. На том пятнышке воды тогда еще затаивались днями самые крупные и самые хитрые утки — краквы.

Гусиная стая то взмывала выше бора, то снижалась за сосны. И кажется, что птицы не гагали, а пытались друг дружку: «Да? Да! Да? Да!» Наверное, вожак и отвечает утвердительно «Да!» на взволнованный вопрос. Неужели... Неужели кто-то из них вспомнил давнее гнездовье предков, круглое и веселое озеро Гусиное?

Я знаю, как выглядит теперь умершее озеро, и мне стало не по себе. Ну кто, кто откликнется гусям оттуда, коли давно оглохшее озеро сплошь загустело черноталом, пвами-бердинами и даже березовой молодью? Того и гляди, не останется на Гусином редкого тростника и жидкой осоки...

Все громче и тревожнее кричат гуси, словно будят свою память о бывшем гнездовье и тех, кто поднимался отсюда и уводил стаю на зимовку в теплые заморские края. Уводил с печалью, а возвращал домой с радостью; кто учил стойкости и верности родине, мужеству и мудрости на дальних перелетах. Однако молчит озеро, где березами и кустами хозяйничает осень. Ветерок с убаюкает седые челки тростника и обрывает бледно-желтые язычки листьев с красноталин. Гусиное откупается от приближающейся зимы последними золотинками березовой листвы и... не подает голоса тем, кто давным-давно поднимается в небо на чужих озерах.

Посторожному для здешних мест человеку и в голову не придет, будто гуси кричат перед расставанием с родиной. Ему подумается, что обронили они сюда своего товарища. Но я-то знаю со слов мамы и дяди Василия с теткой Афанасией: вовсе не случайно впадина с крутыми берегами получила из уст первопоселенцев с Русского Севера имя — Гусиное озеро, как не ради красивого слова названо недалекое болото Лебяжье озеро. Не застали мама с отцом на нем лебедей, однако Песковское озеро долго удивляло людей лебедиными семьями.

Мне без бинокля видно, как низко кружат над лесом осторожные птицы. И морозно-страшно при мысли, что им не опуститься на Гусиное — помешают не только деревья, там для них не найдется и глотка болотной влаги.

Уже не стаю гусей и вечный сон озера вижу я сейчас, а родное село Юровка. Вчера дважды проезжали мы с братом и сыном безлюдными улицами моего гнездовья. В четыре раза «усохла» Юровка за послевоенные годы: много лет как закрыта школа и некому взвеселить белокаменный новый клуб голосистой гармонкой... Полному отступлению села на юг пока преградили путь кирпичные корпуса ферм, горы навоза и дурно пахнущие за версту котлованы навозной жижи. Вот-вот она вслучится и зловонным нашествием устремится в боязливо затопившуюся по ивнякам речушку Крутиху.

На плотине Мавринога прудка в усталых женщинах признал я вдов — жену покойного друга Осяги и жену тоже недавно умершего брата его — фронтовика Ивана. Одного унес на тот свет тяжкий, с юности, труд на тракторах, у другого жизнь укоротила война. Паян и Любава шли из леса — несли топор и пилу. Вдовья доля заставила их взяться за мужскую работу — заготовку дров в позднее время. Промелькнули знакомые лица — смуг-

лое Пани и бело-розовое Любавы и... нет, не опознали они меня в поседевшем человеке.

Родина моя, моя до боли в сердце родимая Юровка, и прозрачная, как слеза ребенка, Крутишка!.. Неужто доживет ваш сын до скорбного дня, когда на юру-угоре останутся лишь состарившиеся тополя и ветлы, как сейчас на Одино. Только мне ведь не взлететь над бывшим селом, подобно гусям... Упаду я в бурьян-дикоросник и стану пытать землю, куда она подевала мое село, куда и чем заманила моих односельчан? Только ведь и мне тоже не дозваться до Юровки, до тысяч тех, кто спит беспробудно на смертных полях войн и на кладбище за Одиной — до тех, кто ради детей расселился по большим и малым городам страны...

В бурьяне зверовато зашуршит ветер и горечью чернотала повеет на меня полынным упреком: «Чего же ты дознаешься у родимой земли, если и сам осиротил родительское гнездовье — избу, сам векуешь в далеком городе?»

ТЕНИ В ОКЕАНЕ

Борис ВОРОНОВ

Знаменитый роман американского писателя Питера Бенчли «Челюсти» (несколько лет назад печатался в журнале «Иностранная литература») начинается так:

«Огромная рыба бесшумно рассекала ночную воду, слегка взмахивая серповидным хвостом. Пасть ее была открыта, чтобы потоки воды свободно проходили сквозь жабры. Тело ее казалось неподвижным. Чуть приподняв или опустив один из грудных плавников, она легко меняла направление, как меняет направление полета птица, приподняв одно крыло или опустив другое. Ее глаза ничего не видели в ночной темноте, а другие органы чувств не посылали никаких тревожных сигналов в маленький примитивный мозг. Можно было подумать, что рыба спит, если бы не это бесшумное скольжение — инстинкт самосохранения, выработанный за бесчисленные миллионы лет. Отсутствие плавательного пузыря, который есть у других рыб, и околожаберных плавников, прогоняющих насыщенную кислородом воду сквозь жабры, заставляло ее быть в непрерывном движении. Если бы она остановилась, она бы пошла ко дну и погибла бы от недостатка кислорода...»

Это была гигантская белая акула — акула-людоед. В самый разгар курортного сезона она вдруг объявилась в прибрежных водах, незамедлительно последовали человеческие жертвы, первые попытки противоборства лишь увеличили их число, и панический ужас проникал в людские сердца — океанская хищница выглядела по всем статьям неуязвимой. Естественно, в итоге ее все-таки победили, но победа потребовала предельных сил и мужества. Скептик наверняка скажет: досужий писательский вымысел! Однако роман П. Бенчли основывается отнюдь не на фантастическом допущении. Ежегодно пресса доставляет десятки сообщений о всевозможных «проделках» акул.

В 1984 году Вику Хилсону, профессиональному охотнику за акулами, пришлось четыре с половиной часа вести борьбу с белой акулой, протарившей за это время

его катер вдоль северо-восточного побережья Австралии на 32 километра. Пойманная в конце концов «рыбка» весила почти 2 тонны, длина ее превышала 5 метров. Надо ли говорить, что подобные поединки могут заканчиваться и совсем по-другому.

Кстати, в тот день белая польстилась на уже «сидевшую» на крючке у Хилсона четырехметровую тигровую акулу, буквально перекусила ее пополам, в результате этого сама оказалась добычей, сбила один из подвесных моторов и чуть не потопила судно.

В том же 1984-м белая акула разорвала австралийку Энн Дардин (она заплывла слишком далеко) на глазах сотен потрясенных этим зрелищем отдыхающих.

Наблюдаются значительные скопления белых акул у берегов Калифорнии. Американская печать отметила целую серию нападений на пловцов и любителей виндсерфинга. Длина охотившихся на людей акул достигала 7 метров, вес — трех с половиной тонн...

Но не будем нагнетать страсти, попробуем разобраться: что же такое акулы?

Всего существует более 350 видов. Из них особую опасность представляют наша знакомая белая (или корхиродон), тигровая, мако, акула-молот, голубая акула, морская лисица, пресноводная акула озера Никарагуа, гангская и обыкновенная песчаная акула. Однако не являются безобидными и сельдевая акула, полярная, австралийская песчаная и еще некоторые.

Из статистики следует, что нападает акула как при хорошей, так и при плохой погоде, как в прозрачной, так и в мутной воде, как среди океана, так и у самого берега. Произойти это может в любое время суток, но особенно — после трех часов пополудни.

В общем нельзя однозначно ответить, когда и почему нападает акула. Ее может привлечь блеск кольца, расцветка купального костюма, кровь от пореза или резкие движения пловца, вызывающие звуковые колебания определенной частоты. Главный побудитель — постоянный голод.

Акулы обладают чувствительными органами слуха и обоняния, а также, как недавно оказалось, весьма и весьма неплохим зрением. Они великолепно видят даже в темноте. Это установил американский исследователь Губер после многих опытов в одном из флоридских бассейнов.

Отличный слух позволяет акулам даже на значительном расстоянии слышать звук бросяемого якоря или шум ныряющего человека, и нередко они тут же возникают в непосредственной близости. Как бы для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Жители островов и побережья океана издавна используют это в своих целях.

Так, жители Соломоновых островов для приманки и последующей ловли акул применяют специальную трещотку из пустых кокосовых орехов. Ее крепят на длинном шесте и резко встряхивают над самой водой. Чаше всего «отклик» следует почти моментально.

Феноменальное обоняние акулы послужило причиной для того, чтобы назвать ее «морской ищейкой». Профессор зоологии Корнельского университета Перри Джилберт определил, что некоторые виды акул способны учуять запах крови или рыбьего жира за полкилометра.

Эта удивительная уникальная способность акул нашла отражение на страницах литературных произведений. Достаточно назвать известную всем повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море»: «Через час после того как старик поймал и привязал меч-рыбу к лодке и взял курс на юго-запад, его настигла первая акула. Акула догнала его не случайно...»

Подводные исследователи и пловцы должны соблюдать крайнюю осторожность, если на теле у них есть хоть малые порезы или кровотокающие раны. Почти невероят-

ный случай случился в 1972 году на нашем обжитом Черном море. Отдыхавшая там учительница биологии из Воронежской области Виктория Пархоменко вооружилась ружьем для подводной охоты и решила добыть экспонаты для школьного музея. Во время одного из погружений она несильно поранила колено об острые края раковины.

Виктория уже собралась подняться на поверхность и вдруг увидела несущуюся прямо на нее веретенообразную рыбу. Метровая черноморская колючая акула вцепилась в раненую ногу. Хорошо, что женщина не растерялась и выстрелом из ружья прошила белое брюхо.

До подводных съемок и наблюдений специалистов во всем мире считалось: чтобы схватить жертву, акуле необходимо перевернуться — ведь пасть у нее находится далеко под длинной мордой. Даже легендарный Алан Бомбар, без каких-либо запасов продовольствия в одиночку пересекший Атлантику в 1952 году на маленькой резиновой лодке «Еретик», поддерживал это мнение.

Действительный же механизм акульей атаки был впервые изложен Филиппом Кусто (сыном выдающегося исследователя подводных глубин, человека заповедной храбрости Ж.-И. Кусто):

«...Когда акула открывает рот, нижняя челюсть выдвигается, а голова почти под прямым углом к туловищу отгибается назад. Таким образом пасть акулы оказывается впереди головы, а не под ней. Челюсть вооружена семью рядами острых блестящих зубов (речь идет о голубой акуле.—Б. В.). Акула вонзает весь этот механизм в свою жертву, и тело ее начинает двигаться в непроизвольных конвульсиях, которые превращают ее челюсти в настоящую пилу...»

Тут кровь стынет в жилах... Как будто спасения нет... И все же бывает, что даже невооруженный человек, проявив недюжинное мужество, остается в живых.

В 1963 году большая белая акула схватила австралийского аквалангиста Родни Фокса, и вот что ему вспомнилось:

«...Странное, ни с чем не сравнимое ощущение овладело мной. Меня тошнило, на спину и грудь навалилась огромная тяжесть, мне казалось, будто мои внутренности перекачиваются с одного бока на другой. Я пытался освободиться, но мое тело было зажато, словно тисками. Левое плечо оказалось у нее в пасти. На мгновение мое сознание помутилось, от ужаса я даже не чувствовал боли. Я вытянул руку, стараясь нащупать глаза чудовища...»

Обратите внимание: стараясь нащупать глаза! После этого акула на миг ослабила схватку, и Фоксу удалось вырвать руку из пасти, всплыть на поверхность, отбить еще несколько атак. Человек не погиб, несмотря на страшные раны на груди, спине и плече.

Хрестоматийным стал случай в Торресовом проливе. Голова ловца жемчуга Ионы Асаи попала в пасть тигровой акулы. Казалось бы, все, но человек не сдался — он давил на глаза хищницы до тех пор, пока она не отпустила его.

Выходит, глаза — «ахиллесова пята» акулы. Так что шанс на спасение наличествует... Однако этого явно мало, чтобы спокойно чувствовать себя среди водной пучины.

В 1927 году пассажирское судно «Принцесса Мэфальда» направлялось из Италии в Рио-де-Жанейро. На борту было более тысячи человек. Ночью в 130 милях от порта назначения сломался гребной вал и пробил борт, после чего в машинное отделение хлынула вода, судно получило крен и началась паника.

Пассажиры беспорядочной толпой кинулись к спасательным шлюпкам, а те, кто не надеялся на место в них, надевали нагрудники и бросались в воду, чтобы вплавь достичь уже спешащих на помощь судов.

Однако они не доплывали до этих судов — внезапно исчезали под водой... Океан огласился криками ужаса... Вскоре последовала разгадка — длинное тело акулы мелькнуло возле перевернувшейся шлюпки, и прозвучал короткий леденящий женский вопль...

Началась так называемая «пищевая лихорадка» акул... Хищницы выпрыгивали из воды, кидались на шлюпки, перекусывали весла. Ничто — ни рев судовых сирен, ни яркий свет прожекторов, ни пальба холостыми зарядами из пушек подоспевшего бразильского эсминеца — не могло отпугнуть их.

За эту бесконечную ночь погибло 314 человек. Но и среди спасшихся многие затем умерли от нанесенных акулами ран. Почти все получили и тяжелые нервные заболевания.

Непредсказуемая агрессивность и невероятная живучесть акул заставили человека искать средств защиты.

Вторая мировая война дала этим поискам особый толчок. Американские солдаты, воевавшие на Тихом океане, куда больше, пожалуй, боялись акул, нежели японцев. Вопрос защиты от акул не потерял актуальности и сегодня.

У писателей-фантастов против акул чаще всего применяется острый кинжал. Здесь достаточно вспомнить книги Жюль Верна или Александра Беляева. Однако даже этим многоуважаемым и любимым авторам приходится не верить. Известный немецкий исследователь Г. Хасс пишет: «...Невероятно, чтобы при помощи кинжала — как бы остро он ни был отточен — можно что-либо сделать с действительно опасной акулой. Рассказы о вспарывании брюх — сказка.

Если нападающая акула настолько близко, что можно применить кинжал, вряд ли вообще есть шансы на спасение.

К этому следует прибавить, что кожа у больших акул очень жесткая, а сравнительно маленькое сердце защищено хрящами...»

В качестве колющего средства защиты учеными рекомендуются короткий шток с металлическим наконечником и «акуля дубинка».

«Акуля дубинка» (рекомендуемая Ж.-И. Кусто) — это крепкая палка длиной примерно в четыре фута, на конце — гвозди. Они не дают ей скользить по коже нападающей акулы. В нескольких случаях дубинка действительно останавливала хищниц. Однако сам Ж.-И. Кусто не исключал, что это «всего-навсего еще одна мнимая защита против этих непостижимых существ».

К сожалению, правоту высказывания Ж.-И. Кусто подтвердил опыт советских водолазов, проводивших инженерно-геологические исследования в тропических водах Тихого океана. Однажды здесь едва не произошла трагедия. Обо всем этом повествуется в книге В. Карпичева «Путь в глубину».

В районе рифа двое водолазов неожиданно были атакованы стайей акул. Сверху последовала команда: всплыть! — и напарник исполнил ее, а Марк Орлов самоуверенно продолжал погружение. Особенно после того, как его «акуля дубинка» успешно отразила первую атаку хищницы. Но затем она выпала из рук, потому что акула вцепилась прямо в грудь — кровь хлынула из раны, человек, по сути, был уже обречен, еще минута-другая — неминуемая гибель. Товарищи еле успели буквально выхватить безрассудного смельчака из воды.

В 50-е годы появились подводные ружья и pistols. Но их можно применять только для добычи съедобной рыбы. Как средство защиты от больших акул или охоты на больших акул они эфемерны. Лихачество аквалангиста в таком случае — это пролог возможной трагедии.

Под Владивостоком один из аквалангистов выстрелом из подводного гарпунного ружья попытался добыть круп-

ную акулу и заплатил за это жизнью. (Сообщение О. Хлудовой — натуралиста, художника, автора книг о подводных исследованиях.)

В связи с разработкой программы «Аполлон» в США было создано новое индивидуальное оружие против акул. Оно представляло собой стальную острогу, на ее кончик крепился баллон с углекислым газом или сжатым воздухом, а он в свою очередь снабжался острой иглой. После прокалывания такой иглой тело подошной акулы быстро раздувалось, и она становилась абсолютно безобидной, всплывала на поверхность.

Однако пока все же эффективнее, надежнее, вернее «акулий мешок». Вот уже без малого два десятилетия он защищает людей, попавших в воду после аварии самолета или кораблекрушения. Акулы обычно проплывают мимо. Секрет в том, что этот легко складывающийся в небольшой пакет мешок высотой в рост человека имеет в верхней части надувной круг и изготавливается целиком из черной непрозрачной полиэтиленовой пленки. Вы тут же воскликнете: эка невидаль! Но основа основ здесь — именно цвет.

Во время опытов у берегов Флориды спасательные круги и жилеты всех других цветов (красного, желтого, оранжевого, белого) моментально становились объектами нападения.

В черном мешке люди плавали в бассейне по соседству с голодными акулами (белыми, голубыми, тигровыми), и хищницы не трогали или не замечали их, хотя задевали мешок плавниками.

Во всем этом, несомненно, кроется какая-то загадка. Но ведь мы вообще ничтожно мало знаем про акул. И до сих пор учимся лишь защищаться от них.

Лучшим средством защиты исследователя-подводника является «акуля клетка». Она может снабжаться специальным устройством, обеспечивающим возможность ее зависания на заданной глубине. Все это создает необходимые условия для наблюдения за жизнью под водой и для выполнения некоторых видов подводных работ.

Значительные усилия направляются также на защиту от акул отдыхающих в курортных зонах. В наши дни в Австралии, странах Персидского залива, ряде островных государств, на юге Африки и Северной Америки пляжные акватории в обязательном порядке ограждаются со стороны моря или океана стационарными крупнейшими металлическими сетями...

В поисках новых средств защиты ученые обратились к изучению физиологии самой акулы.

Можно ли нарушить ее механизм обнаружения жертв? Можно ли вызвать для нее раздражающее действие при приближении к определенной акватории?

Было установлено, что в основе обоняния акулы лежит и некое «электрическое чувство». Это чувство является своего рода электромагнитным компасом, позволяющим акуле безошибочно ориентироваться в океанских просторах.

Но такая система ориентации может быть «выведена из строя» целенаправленным воздействием электромагнитных волн определенной частоты.

Исходя из этого, уже сконструирован прибор (он весит всего 1 килограмм), который может и должен стать надежным средством для аквалангистов, и не только для аквалангистов.

Одновременно многие морские лаборатории разрабатывают всевозможные химические вещества для защиты. Начало этому положил 40 с лишним лет назад (мировая война бушевала) американский специалист по акулам Стюарт Спрингер.

Однажды он узнал: акулы вдруг дружно покинули излюбленный ими район у побережья Флориды. Причиной оказался брошенный рыбаками у причала труп их

соплеменницы. Точнее, отпугнул ацетат аммония, выделяющийся при гниении акульего мяса.

В конечном счете этот ацетат аммония был соединен с сульфатом меди. Созданный таким образом препарат «ацетат меди» получил узаконенное право на применение. Он стал обязательной частью снаряжения американских летчиков и моряков.

Работа над созданием парализующих средств заставила ученых обратить пристальное внимание на обитающую в Красном море небольшую рыбку низию: вещество, ею выделяемое, на долгое время парализует акул. Опушенный в бассейн фарш из низии привел всех акул после продолжительных конвульсий к смерти. Сотрудники университета Дьюона установили: основа выделяемого низией вещества — пардаксин. Так человек приобрел еще одно средство защиты, и теперь время определит, насколько оно безотказно.

...Гибель любого из нас в пасти акулы вызывает не только чувство ужаса, страха, ненависти, но и желание немедленно отомстить. Вспомните хотя бы тот же роман П. Бенчли. И не удивляйтесь, что в некоторых наиболее «горячих» местах (в частности, на Гавайях, Ямайке) по сей день существуют настоящие ритуалы такой мести. На десятках и сотнях катеров мужчины выходят в океан для уничтожения акул.

Сегодня против массового истребления акул уже протестуют многие авторитетные ученые. Быть может, и акулы (искусные океанские санитары) нам еще пригодятся...

ПРОШЕЛ ДИНОЗАВР...

Владимир ПОСТОЕВ

Резкие порывы ветра встревожили зверя, и он посмотрел в сторону полуденного солнца. Там бушевала песчаная метель, крутя и перебрасывая листья и ветки, поднимая в воздух тучи лессовой пыли. Все ближе и ближе сверкали молнии и гремел гром. Громоздкий зверь вышел из мелководья, где жевал сочный тростник, и пошел по берегу, решив, очевидно, не отходить далеко от места кормежки. Его задние лапы с чавканьем погружались в вязкую смесь глины, песка, лесса, травы, мелких веток, давя моллюсков и насекомых. Смесь медленно выравнивалась, но тут ее настигла пылевая поземка, присыпавшая следы, хлынувший дождь прибил пыль, а открывшееся солнце высушило ее. На образовавшуюся корку с годами навалилось столько земли, что казалось, следы зверя навечно останутся похороненными в ней...

Мы пили чай и беседовали.

— А знаешь ли ты, что здесь есть окаменевшие следы человека? — спросил Сагамбек Айдаров.

— Какого человека? — растерялся от неожиданного поворота я.

— Древнего. Очень древнего.

Вроде бы не разыгрывает, промелькнула мысль, пока я всматривался в лицо невозмутимо отхлебывавшего чай Сагамбека. Да и предыдущая тема беседы не настраивала на шутливый тон.

— А где это здесь? — спросил я.

— Недалеко. Час идти нужно, — лаконично изрек Сагамбек.



Сагамбек Айдаров

Я все еще не верил ему.

— А там, хм, не святое место? Может, старики молятся или еще что, а мы помешаем...

— Нет, не молятся. Другие люди не знают про эти следы. О них мне рассказал много лет назад один родственник, потом по его описанию я нашел это место, когда проезжал мимо на лошади. Там несколько следов.

— Тогда надо сходить туда, — загорелся я. — Покажешь?

Мы долго обсуждали этот вопрос. Дело в том, что Сагамбеку нужно было отдыхать после суточного дежурства в пожарной части Майли-Сай, где он работает, а мне нужно было сделать много — кончался отпуск, нужно доставать билет, собираться, наносить прощальные визиты.

— Ладно, пойдем сейчас, — решил Сагамбек. — Не против?

— Идем, — тут же согласился я.

И через час мы действительно подошли к месту, где хребет, словно огромный торт, был когда-то от гребня до подошвы разрезан сверху вниз мощными подземными силами, обнажившими то, что было активной историей десятки и сотни миллионов лет назад.

— Здесь! — сказал Сагамбек.

Я осматривался. Гребень хребта в этом месте был словно пропорот примерно метровой толщины светло-серой плитой, уходящей в землю под углом около 45 градусов. Было семь вечера, и солнце посыпало свои лучи «в лоб» плите, из-за чего она казалась как бы отглаженной, на ней были заметны лишь крупные трещины и сколы.

— Не вижу, — признался я.

Сагамбек опустил поводья ишака и, молча шагая по плите, несколько раз хлопнул ладонью по ее шершавой поверхности. Потом уселся на край над многосотметровым обрывом и улыбнулся.

И тут я увидел их. Цепочка вмятин протянулась от края плиты и ушла в ее продолжение, скрытое землей. Одна, вторая... Девять вмятин, девять следов, оставленных давным-давно каким-то существом.

Я стал лихорадочно ощупывать вмятины. Да, впечатление такое, словно здесь прошел человек. Но это же немислимо: плите, как минимум, десятки миллионов лет, да и размеры вмятин и расстояние между соседними таковы, что будь они оставлены человеком, то не менее чем трехметрового роста. Вряд ли такие водились в древности, хотя, впрочем, трудно и опровергнуть такое предположение, ведь летали же в те времена гигантские стрекозы. Может, древний снежный человек? Нет, скорее всего, здесь когда-то прошествовал динозавр, представитель самого многочисленного надотряда вымерших пресмыкающихся. Почему-то мне не хотелось так сразу разочаровывать Сагамбека.

Я вспомнил про свой фотоаппарат и чуть не застонал. Солнце, как уже говорил, светило «в лоб» плите, почему я не сразу и разглядел следы. Ясно, что в тот день нечего было думать о съемке, точнее — о получении качественных снимков следов. Снимать нужно, прикинул я, утром, когда солнечные лучи будут как бы скользить по поверхности плиты. Тогда следы выделятся тенями на ее светло-сером фоне.

И все-таки я сфотографировал следы, Сагамбека, окрестности. А через три дня пришел на это место с товарищем.

— Я же тут много раз проходил, но не замечал их, — сокрушался Игорь, так же как и я не разглядевший следы без подсказки.

Он тут же стал ощупывать их, бормоча что-то себе под нос.

— Похоже, действительно динозавр, — подтвердил он мое предположение. — Плита эта — типичный метаморфизированный ракушечник.

Весной в горах погода меняется неожиданно и очень быстро. На хребет мы поднимались при средней облачности, к следам пошли под морозящим дождем. А тучи клубились, сгустились. Гребень хребта укутался ими, и не осталось надежд на улучшение погоды. В тот день дождь шел до вечера. Грустно подумалось, что и в этот раз не удастся получить приличные снимки.

Я был удручен. На следующий день надо было уезжать. Когда еще удастся навестить динозавра? А Игорь оживленно делился планами. Ему захотелось раскопать продолжение цепочки следов, укрытых землей и коркой...

Павел МАКСИМОВ

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ — ВСЕ ПО ПЛЕЧУ

Пробираясь густыми зарослями ивы и черемухи, наткнулся я на большой муравейник.

«Вот хитрая семья! Как ловко спрятались, не каздый сюда пройдет», — было первой моей мыслью. Но мысль эту я отверг, как только остановился и стал наблюдать за лесными тружениками. Нет, они не спрятались!

Это ива и черемуха подошли к муравейнику. Причем так бесцеремонно подошли, что не только окружили жилище муравьев, а отдельные их молодые отростки оказались в середине его. Тут же, в муравейнике, я увидел два бледно-алых стебелька дикой розы. Это уже сами муравьи постарались — принесли ее семена, которые и проросли здесь.

Муравьи очень любят солнце. Любят нежиться под теплыми лучами. И, конечно, этот муравейник когда-то был на открытом месте в лесу или у ствола березы или осины, а затем, когда лес вырубил, на месте его появились эти заросли. И вот сейчас, ранней весной, когда кусты еще не покрыты листвой, муравьям хорошо. Рыжая, какая-то блестящая масса — они почти не шевелятся, наслаждаясь теплом.

Видно, крепко любят муравьи лес.

«И все-таки им хорошо, — думал я. — Они истинные друзья леса и поэтому так крепко любят свой дом, свое родное место, что им нет надобности его менять, пугаться зарослей, да притом они живут большой семьей, которой все по плечу».

ЖУРАВЛИ

В этом году как-то особенно запомнился мне отлет журавлей. Быть может, потому, что на протяжении одного из сентябрьских дней я без конца невольно слышал их тревожный крик. Журавли шли в этот день. Одни стаи летели высоко, под самыми облаками, другие же подолгу кружили над отдельными местами. «Почему они все кружат и так надрывно громко кричат? — задавался я вопросом. — Может, спорят о том, лететь им дальше на юг или еще пожить на родине? Ведь здесь еще так тепло и привольно».

Так я думал о журавлях, которые, мне казалось, так неохотно летели на юг и наполняли окрестности своим печальным криком.

О, эта журавлиная прощальная музыка! У кого не сожмется от нее сердце?!

А вот весной лишь послышится курлык-курлык, мы в радости восклицаем: «Смотрите, смотрите, журавушки прилетели! Значит, быть теплу и солнцу!»

ПОЛЕ

Поле — бесценный родник. Оно родит основное наше богатство — хлеб. Бьет этот родник тем сильнее, чем мы больше проявляем о нем заботы, и меняется на глазах. Давно ли поле было черным, как воронье крыло. Но прошло немного времени — и оно забило маленькими фонтанчиками — зелеными струйками всходов. Пройдет еще немного времени — и поле превратится в колышущийся при ветре зеленый ковер. Затем оно начнет цвести, колоситься, наполняться зрелым зерном, и — полужай земледельца, дар родника полной мерой! Получай самую сильную силу в мире — хлеб!

Поле! Две силы слились в тебе воедино — природы и человека. Ты — самый ценный родник на земле.



Александр Михайлович Городницкий живет в Москве, работает в Институте океанологии АН СССР. Доктор геолого-минералогических наук, член Союза писателей СССР, поэт, автор песен.



Мария
ДЕЙЧ

ОДОЛЕЙ ОКЕАНА ДАЛЬНОСТЬ...

Про себя удивляюсь, что встречаюсь с этим человеком впервые. А ведь знаю его давным-давно... Все мы его знаем.

...Школьный зал. Урок пения. Новая песня. Наша учительница пения поет ее тихо и как-то тревожно:

Когда на сердце тяжесть
И холодно в груди,
К ступеням Эрмитажа
Ты в сумерки приди...

Наверно, это было лет пятнадцать назад. В «Атлантах» было что-то красивое, вечное и действительно тревожное. Атланты — конечно, аллегория, но мир должен стоять на крепких и верных плечах — это уже аллегорией не было.

...Звездное небо. Чай в котелке. Костер. Студенческое братство. Все взоры — на гитару: «Давай нашу...»

Пусть чаек слепящие вспышки
Горят надо мной в вышине,
Мальчишки, мальчишки, мальчишки
Пусть вечно завидуют мне.
И старость отступит, наверно,
Не властна она надо мной,
Когда паруса «Крузенштерна»
Шумят над моей головой...

Тогда мы уже знали, что автор наших любимых песен — Александр Городницкий. Пели его «Снег», «Над Канадой», «На Соловецких островах», «Все перекаты да перекаты...», переписывали друг у друга слова. Они были понятными и необходимыми, потому что в них говорилось о дороге, о друзьях, о дальних странах и какой-то прекрасной романтической жизни.

Александр Городницкий приехал в Свердловск с концертами. Он пел свои песни под аккомпанемент гитариста, чуть-чуть помахивая в такт рукой; говорил, что сам не умеет играть на гитаре и петь тоже не умеет... А напротив сидел замороженный зал, ко-

торый был готов слушать его бесконечно. Чем же так тронул сидящих в зале, молодых и пожилых, этот человек — как принято говорить, самодеятельный автор, бард, вовсе не композитор и совсем не певец?

Он разговаривает со своими зрителями, слушателями, как с друзьями. Мудрые стихи, пронзительные строчки, человеческое обаяние... Что же еще?

Я поняла это «что же еще» позже, после встречи с Александром Михайловичем Городницким в Ленинграде — городе его детства, его юности.

— Если бы я был уверен в том, что мои стихи этого стоят — нет, я не рисуюсь и не кокетничаю, — я занимался бы только литературой, честное слово...

— А песни?

— Да, пожалуй, не петь я не смог бы...

— А путешествия?..

— И без них тоже не смог бы. Наверно, из-за слабости характера ни то, ни другое не могу бросить.

...Начиная с 1954 года Александр Городницкий ежегодно принимает участие в геологических и океанологических экспедициях. Работал на Гиссарском хребте, Памире, Тянь-Шане, несколько лет — в Арктике, был на дрейфующей станции «Северный полюс» в Антарктиде. А если короче, то он работал на всех континентах и во всех океанах мира.

«Вот это повезло!» — первое, что просилось бы на язык. Еще бы, столько повидать, конечно, интересно! Но это сторона внешняя, праздничная. Есть и другая сторона...

За этим «повезло» — длинные таежные маршруты с неподъемным рюкзаком, ледяной, сбивающий с ног полярный ветер, тропические ливни, обволакивающий жар пустыни, штормовые бури... Тяжелые рабочие будни, которых гораздо больше, чем праздников. Так повезло ли? Можно хорошо работать и в тиши кабинета. Чтобы приносить пользу людям, не обязательно попадать на Северный полюс или в

открытый океан. И жить можно не в палатке или каюте, а в уютной квартире с телефоном в центре города. Почему же не сидится на месте некоторым людям, зачем им эта трудная, вроде бы не такая уж хорошая и совсем неблагоустроенная жизнь?

Подумалось: Городничий — тот человек, у которого можно об этом спросить.

— Я давно живу на свете и уверен, что каждому необходимо понять, представить масштаб человеческой жизни. Для этого нельзя не прикоснуться к Эрмитажу, к прекрасному... Нельзя не «зарыться» в книги... Нельзя не почувствовать ответственность за все, что вокруг: за беспредельность тайги, плеск волны, полет птицы... Без этого человеку трудно понять, для чего живет он сам.

...И сразу вспомнилась песня Городничьего «Тень тундры»:

...Да, мир устроен празднично и мудро,
Пока могу я видеть каждый день
Тень облака, плывущего над тундрой,
Тень птицы, пролетающей над тундрой,
И тень оленя, что бежит по тундре,
А рядом с ними — собственную тень.

Предвижу, что скажут некоторые юноши, любящие поговорить о романтике: легко, мол, рассуждать, когда ты доктор наук, и вся жизнь состоит из замечательно трудных путешествий... А тут всё известно наперед: закончим школу, пойдем работать или поступим в институт. Потом — жена, дети, телевизор... И никаких тебе путешествий.

Только ведь речь идет не о том, путешествовать

или нет — слишком уж это узко, да и не проблема в наши дни. Разговор идет об отношении к жизни и о том, что мы в ней ценим. Как жаль бывает ребят, у которых все мечты сводятся к приобретению необыкновенного магнитофона, покупке джинсов, ах... «бананов», которых нет ни у кого в классе. Самообделенные молодые старики!..

Городничий: «Из палатки, с палубы корабля все видится как-то яснее», «Душу формируют трудности», «Океан отсеивает дурных людей», «Трудности лечат от эгоизма, стяжательства, в экспедиции ведь нет полированной мебели...»

Можно соглашаться или не соглашаться с Александром Михайловичем, принимать или не принимать его слова. Но у Городничьего есть право с уверенностью их отстаивать — это не декларация, и не теоретические выкладки. Это кодекс человека, прожившего на свете больше полувека и более тридцати лет отдавшего экспедициям.

— Вы знаете, я был очень послушным мальчиком... Слушался маму и папу, ходил в литературный кружок Дворца пионеров и вообще рос комнатным ребенком. А потом вдруг понял — хорошо, что вовремя: так жить нельзя, так жить неинтересно. Поступил в горный институт, стал геологом... Люди подразделяются на живых, мертвых и тех, кто плавает, — это мысль одного древнего философа, но она не устарела, правда? А только держится всё, по моему, на тех, «кто плавает». Это они покоряют вершины, открывают новые месторождения, добиваются до других планет.

Около двух тысяч лет идет спор об Атлантиде.



**Александр
ГОРОДНИЦКИЙ**

Я ИДУ ПО УРУГВАЮ

«Я иду по Уругваю.
Ночь — хоть выколи глаза
Слышны крики попугаев
И мартышек голоса».
Над цветущей долиной,
Где не меркнет синева,
Этой песенки старинной
Мне припомнились слова.
Я иду по Уругваю,

Где так жарко в январе,
Про бомбежки вспоминаю,
Про сугробы во дворе.
Мне над мутною Ла-Платой
Вспоминаются дрова,
Год далекий сорок пятый,
Наш отважный пятый «А».
Малолетки и верзилы
Пели песню наравне,
Побывать нам не светило
В этой сказочной стране...
Я иду по Уругваю,
В субтропическом раю,
Головой седой киваю,
Сам с собою говорю.
Попугая пестрый веер,
Океана мерный гул,
Но линкор немецкий «Шлеер»
Здесь на рейде затонул.
И напомнит — так же страшен —
Бывшей мачты черный крест,
Что на шарике на нашем
Не бывает дальних мест.
Я иду по Уругваю
В годы прошлые, назад,
Вспоминаю, вспоминаю,
Вспоминаю Ленинград:

«Я иду по Уругваю.
Ночь — хоть выколи глаза.
Слышны крики попугаев
И мартышек голоса».

САНЧО ПАНСА

Низкий лоб платком заматан.
Небо в утреннем дыму.
Почему за Дон-Кихотом
Едет Санчо? Почему?
Что влечет его — нажива,
Скудной жизни вопреки?
Не до жиру — быть бы живу,
Вся нажива — тумак.
Плачет пашня по работам,
Пусто в брошенном дому.
Почему за Дон-Кихотом
Едет Санчо? Почему?..
Волоча худые ноги
Мимо рощ и мимо сел,
Конь плетется по дороге,
И трусит за ним осел.
Гаснет вечер над болотом,
Солнце кануло во тьму.

По древнегреческому преданию, созданному Платоном,— это огромный остров, существовавший некогда в Атлантическом океане. Могучее племя атлантов населяло его. На вершине подводной горы были обнаружены загадочные стены, похожие на развалины древней крепости. В 1984 году с борта научно-исследовательского судна «Витязь» были проведены исследования с помощью подводного обитаемого аппарата «Аргус» и водолазов. Городничкий сам погружался на таинственные стены. Анализ показал: камень поднятой с горы Ампер вулканической породы мог образоваться только над поверхностью океана. Значит, вулкан был островом... Так возродился миф о платоновской Атлантиде.

Александр Михайлович Городничкий, написавший в шестидесятых годах песню «Атланты», верит в существование Атлантиды. А что? Ничего удивительного в этом нет.

Он занимается проблемами дрейфа континентов, вопросами эволюции и происхождения океанских вулканов. Участвовал в одном из первых погружений на дно океана в обитаемом подводном аппарате. Им написано сто пятьдесят научных работ. Вышли три книжки стихов, пластинки, написаны песни к спектаклям... Хотелось бы сказать: всё, что он может и умеет, он делает одинаково талантливо, но вспоминаю, как Александр Михайлович предупреждал: «Только не делайте из меня этакое супермена...» Да, таким его представлять не надо.

...Держу в руках две книги А. М. Городничкого. Одна — вышедший в 1984 году поэтический сборник «Берег», другая издана в издательстве «Наука» —

«Строение океанической литосферы и формирование подводных гор». Помните: «Из-за слабости характера не могу бросить ни то, ни другое». А в этой «слабости» — великая сила. Ведь поэтому и любят стихи и песни Городничкого. В них — яркая, многогранная жизнь, нет ничего выдуманного, вернее, надуманного, они — о пережитом, перечувствованном...

Все же редко кто в юности не мечтает о романтической профессии и просто о чем-нибудь необыкновенном. Но потом в заботах и суете мы стареем, о многом забываем и даже посмеиваемся над собой: надо же, какие детские были мечты... И вдруг видим и слышим человека, который умеет так жить, для которого романтика — образ жизни, а это очень приятно, каким бы рациональным ни был наш век. И седина его — лишь цвет волос. Пока человек мечтает и осуществляет свои идеи, он молод.

Мы храним песни Городничкого десятки лет, и они не стареют, потому что поется в них о жизни, которая — не подарок судьбы, а награда за смелость в поступках, умение не бояться трудностей и верность мечте.

Пусть годы с головы
дерут за прядью прядь,
пусть грустно оттого,
что без толку влюбляться.
Не страшно потерять
уменьше удивлять,
Страшнее потерять
уменьше удивляться...

Почему за Дон-Кихотом
Едет Санчо? Почему?!
Что сулит ему удачу
За туманным рубежом?
Что отыскивает зрячий
В ослеплении чужом?
Пыль и дождь чеканят лица.
В океан бежит вода.
Рыцарь может исцелиться,
Санчо Панса — никогда.
И когда над ближней далью
Тихий грянет благовест,
И уляжется идальго
Под простой тесовый крест,
На осла он влезет грузно,
По-крестьянски, не спеша,
И заноеет странной грустью
Беспечальная душа.

Вдохнут свободной грудью горожане,
Гнедые кони выйдут на парад,
Забывтое залиvistое ржанье
Прольется на бетоны автострад.

Аэропорты вымрут — дирижабли
Неторопливый образуют флот.
Последняя соляровая капля
Растает в бездне океанских вод.

И посреди внезапной тишины
Услышим мы, как слышали когда-то,
Спокойное дыхание волны
И звонкое скрипение каната.

ПРОЛИВ САНГАР

Бьет волна, за ударом удар.
Чайки крик одинокий несется.
Мы уходим проливом Сангар
За Страну восходящего солнца.
Всходит солнце — зеленый кружок.
Берег узкий на западе тает.
А у нас на Фонтанке — снежок,
А у нас на Арбате светает.

За кормою кружится вода.
В эту воду, как в память, глядим мы,
И любимые мной города
Превращаются в город единый.
Тихий смех позабывшийся твой
Снова слышу, как слышал когда-то
Белой ночью над темной Невой,
Темной ночью над белым Арбатом.

Бьет волна, за ударом удар,
Чайки крик одинокий несется.
Мы уходим проливом Сангар
За Страну восходящего солнца.
И в часы, когда ветер ночной
Нас уносит по волнам горбатым,
Все мне снится мой город родной,
Где встречаются Невский с Арбатом...

* * *

Век парусников временно прошел,
Но я уверен, — он еще вернется.
Хоть давит нефть из черного колодца,
Но в мире снова будет хорошо...



ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ГОДА

Валерий МИРОНОВ
Рисунок Ольги Горячевой



ИЮЛЬ

В древнеримском календаре июль был пятым по счету месяцем года и назывался поэтому «квинтилисом». В 44 году до нашей эры он был переименован в «юлиус» в честь Юлия Цезаря, родившегося в этом месяце. Вот и называют его с тех пор «юли» голландцы и датчане, норвежцы и шведы. А созвучно этому его именуют так: англичане — «джулай», арабы — «юлья», греки — «йюллиос», индийцы (на урду) — «джулаи», индонезийцы — «дьюи», испанцы — «хулио», итальянцы — «дулюо» португальцы — «хульо», французы — «джуйе», на суахили — «юлай», а на эсперанто — «джулио».

В ближневосточных странах распространён мусульманский лунный календарь — лунная хиджра. В нем год равен 354 суткам, а счет ведется от 16 июля 622 года, когда, согласно преданию, произошло бегство основателя ислама Магомета из Мекки в Медину. По этому календарю июню — июлю соответствует месяц «джомади П», а июлю — августу — «раджаб».

По китайскому сезонному сельскохозяйственному календарю двухнедельный период до 7—8 июля называется «летнее солнцестояние», до 23—24 июля — «малая жара», а после — «большая жара».

Во Франции в период Великой французской революции и в дни Парижской коммуны на июль приходилось две трети месяца «мессидор» (полевого месяца или месяца жатвы) и одна треть месяца «термидор», что означает «теплый месяц» или «месяц жары».

В Древней Руси июль был на пятом месте. Только с 1700 года он занял сегодняшний порядковый номер. Первое его имя — «липец», так как в это время цветет липа. Так называют его до сих пор в Польше, а

украинцы и белорусы величают «липнем».

У сербов июль — «жар», у болгар — «горешник», у хорватов — «српани» и «српан». У чехов и словаков он — «сечень» или «червенец» («червень»), что означает «красный месяц».

До 20 июля Солнце находится в созвездии Близнецов, а потом — в созвездии Рака. Согласно так называемому календарю «счастливых камней» июлю соответствуют карналлит и рубин, символизирующий яркость и зной летнего солнца. А по календарю цветов июлю посвящаются живокость и шпорник.

По календарю грибника в июле появляются первые волнушки, грузди, рыжики, идет заготовка белых грибов и подосиновиков. По календарю ягодника в июле наступает сезон сбора ягод. Открывает его в первой половине месяца лесная земляника. Следом за ней поспевают черника и морошка, затем — малина, ежевика, голубика...

ПРИМЕТЫ, ПОГОВОРКИ, ПРИСЛОВЬЯ...

Июль — краса лета, середка цвета.
Июль — владыка тепла, жарник, зенит тепла.

Июль — страдник, сенокосник, прибериха.

Июль — месяц ягод, зеленая страда.

Июль — грозник, месяц ливневых дождей.

Если мысленно можно повесить ведро на рог месяца, быть суше. Если же ведро «падает», к дождю. Эта примета предсказывает погоду за одну-две недели вперед.

Утром или вечером высокая заря имеет багрово-красную окраску — скоро будет сильный ветер.

Геолог из Бреста А. Манкевич от имени земляков-подписчиков «Уральского следопыта» справедливо заметил редакции: «Народный календарь погоды — очень хорошо! Но как сравнивать старинные приметы с днем сегодняшним, если мы получаем журнал уже в следующем месяце?..»

Публикуя вместе «Июль» и «Август», редакция надеется, что это отвечает интересам многих подписчиков. В то же время хочется заметить: наши «Двенадцать месяцев года» пригодятся, очевидно, не только сегодня, но и через год, два, три... — до тех пор, пока будут живы журнальные страницы.

Если утром трава сухая — к ночи ожидай дождя.

Зеленоватая окраска луны — признак наступления сильной засухи.

Воробьи веселы, подвижны, драчливы — к хорошей погоде.

Петухи кукарекиют по очереди — жди дождя.

Домашняя птица ошпыливается, купается в пыли, хохлится — перед ненастьем.

Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру.

Пчелы сидят на стенках улья — к сильной жаре.

Жаба в траву выползла — к дождю.

Если паук выходит из гнезда и делает новую длинную паутину — к погоде.

Сильный треск кузнечиков в поле предвещает сухую погоду.

Комары качели устроили — к теплу.

Комары роет — к хорошей погоде, мухи сильно жалят — к дождю.

Мошки «толкут мак» — к ведру.

Если лягушки прыгают на берегу и квакают — жди дождя.

Тучи простираются по небу полосами — будет дождь.

Северный ветер очищает ненастье.

Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню.

Утром туман стелется по воде — будет хорошая погода.

Вечерняя роса — первая примета ясной погоды на завтрашний день.

Высокая и крутая радуга — к хорошей погоде, низкая и пологая — к ненастью.

Чем зеленее радуга, тем больше будет дождя.

После многодневного сильного восточного ветра почти всегда бывает дождь.

3 июля. Паутинный день, празд-

ник перепелятников, погодуказатель.

Летят тетета — удачная охота.

Как наладится дождик лить — рожь повалит, горох отяжелит, вечерами станет мгlisto, зябка да комариство.

6 июля. Купальницы.

Травы в соку — последний срок сбора лечебных корней.

Муравьи прячутся в кучи — жди сильного ветра, дождя, грозы.

7 июля. Купальник, травник, праздник Ивана Купала.

Всякий, кто дорос, спешит на сенокос.

Выкосим все ложбиночки, не пропало чтоб ни сениночки.

Корми меня до Ивана, сделаю из тебя пана, говорит пчела.

До солнца пройти три покоса — не находишься босо.

Жито выколосится должно, а не заколосится, так это к плохому урожаю.

Если есть колосок, так будет через месяц колосок.

Лучший срок сбора целебных трав.

Если дождь заплачет, то через пять дней солнышко будет смеяться.

8 июля. После Ивана не надо жупана.

9 июля. Ягоды поспевают, земляника девок в лес зовет.

Там, где едят землянику и чернику, врачам делать нечего.

10 июля. Пожня (покос, косьба). Ладь косы и серпы.

С косой в руках погоды не ждуть.

Если дождь, то семь недель то ж — до бабьего лета мокро.

11 июля. Упало по листу, придет август — упадет по два.

Придет Петрок — сорвет листок, Илья придет — и два оборвет.

12 июля. День убывает, жара прибывает.

Макушка ивы без вербы (барашков) — скоро созреет хлеб, будет ранним.

Кукушка ячменным колосом давится — умолкает, когда заколосится житарь (ячмень).

Кукушка перестает куковать, а соловей — петь.

Начинают страдовать — сено ставить.

Если один дождь — урожай не худой, два дождя — хороший, а три — богатый.

Утром роса выпадет — так к ведрию, нет росы — дождь будет.

Как медь желты облака — к дождю.

Если дождь идет и пузырьки выскакивают — это к воде, еще дождь будет.

Когда овцы блеют да друг за дружкой бегают — к дождю.

13 июля. Если кукушка продолжает куковать — лето будет хорошее и долгое, а ячменный колос может оказаться пустозерным.

Лещ летом после дождя «плавится»: высовывает из воды рыло, спинной плавник, хвост — к теплоте вечеру.

14 июля. В огородах гряды полют, вырывают корневые овощи.

Среди лета появляются на деревьях желтые листья — к ранней осени и зиме.

К грибам — туманы среди лета, редкий летний дождь с крупными и тяжелыми каплями.

17 июля. Озимые в наливах дошли, а батюшка-овес до половины дорос.

18 июля. Месяц на восходе играет — к урожаю.

Месяц играет через край — жди урожай.

21 июля. Жнец, жатвенник, начало самой сильной жары.

Спелые стручки акаций говорят, что ржаная нива созрела.

В ягодный год дел невпроворот.

Коли черница (черника) поспевает, то поспела и рожь.

Черника вокруг зреет под комариные песни.

Пчелы стали злее — к засухе.

22 июля. Пробуют первые огурцы.

25 июля. День-плакальщик, великие и целебные росы, поле от росы промокло.

Утренняя роса — добрая слеза: ею лсы умывается, с ночью прощается.

Роса мочит по заре.

Роса да туман живут по утрам.

Без рос ночью дол, не туманно в низине — ненастье день принесет в корзину.

Ночная роса не просыхает — быть грозе.

Ночью нет росы, а в низинах не видно тумана — к ненастью.

Туман над лесом — к дождю.

26 июля. Сильные дожди губительны для урожая.

Изменяет туча цвет — изменится и погода.

Сухая погода сулит хорошую осень.

29 июля. Лето перешло (перешагнуло) знойный возраст.

В жару стручки акаций трескаются.

Если день с теплом да со светом — уберешься загодя со жнитвом.

Завтра пойдет дождь, если вечером или ночью при малооблачной погоде значительно улучшится слышимость отдельных звуков.

У птах пропал голос — их песенка спета.

Если будет день дождливым, хлеб в снопе прорастет.

В июле солнце без огня горит.

В июле жарко, а расставаться с ним жалко, в июле душно, а расставаться с ним скучно.

В июле гром и молнии не дают заснуть даже воробьям.

В июле радостью наполнена земля.

В июле муравей трудится, а стрекоза — красуется.

Если июль жаркий, то декабрь будет морозным.

Вереск зацвел — июль уступает место августу.

Облака в июле кочками плывут — к теплой погоде.

Если в июле не вспотеешь, то зимой не согреешься.

Ветер поворачивает за солнцем до обеда, а после — в обратную сторону — будет хорошая погода.

Гром бесперывен — будет град.

Очень темное основание приближающегося кучево-дождевого облака — признак его необычно большой толщины: ливень обещает быть сильным, с градом и шквалистым ветром.

Западный ветер — плаксун: плачет, дождь приносит.

Сильный ветер при дожде — к улучшению погоды.

После большого грома — большой дождь.

Подует студенный ветер с севера — дожди разгонит, принесет ясную погоду.

Вихри винтом — к ведрию.

Если серп луны окутан красноватым оттенком, нужно ждать ветров, а как концы серпа затупятся, прольются сильнейшие дожди.

Вечерняя заря золотисто-желтой окраски с розовыми оттенками — признак хорошей погоды.

Полденка (южный ветер) — к теплу.

Гром гремит при дождливой погоде — к длительному похолоданию.

После дождя солнце ярко сияет и печет — до вечера опять будет дождь.

Если радуга после дождя скоро пропадает — к ясной погоде.

Клен перед дождем «плачет» — листья чуть-чуть увлажняются, исторгая капли сока.

Некоторые полевые цветы перед ненастем свертываются в бутоны.

Перед ненастем в колодцах и ключах поднимается вода.

Утки и гуси кричат, беспокойно полощутся в воде, бьют крыльями — к ненастью.

Пивавка поднимается на поверхность воды перед началом ветра, урагана, дождя.

Зеленый султан моркови никнет — к ненастью.

Обилие ягод предвещает холодную зиму.



Еще стоит хорошая погода, а цветы мальвы и ноготков сложили листочки, склонились и как бы увяли — через некоторое время наступит непогода.

Вьюнок и звездчатка средняя перед наступлением хорошей погоды раскрывают цветки.

Если паук сидит, забившись в середине паутины и не выходит, — к дождю.

Перед ненастьем коровы, возвращаясь из стада, ревут, вечером держатся под кровлей, а не на дворе, заметно убавляют молоко.

У овцы перед ненастьем отсыревает шерсть.

Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

Если летом много щавеля, то зима будет теплой.

Куры не прячутся от дождя — непогода задержится.

Если ожидается солнце, то стебли и листья кислицы расправляются.

После холодного лета — теплая зима.

АВГУСТ

По древнеримскому солнечному календарю последний месяц лета был шестым месяцем года и поэтому назывался «секстилисом». В первом веке до нашей эры его переименовали в честь римского верховного понтифика, сменившего при жизни несколько имен — Гай Октавий, Гай Юлий Цезарь Октавиан и наконец Август, что означает «возвеличенный богами».

С тех пор и называют месяц созвучно этому в целом ряде стран: англичане — «огаст», арабы — «агхустоус», голландцы и индонезийцы — «августос», греки — «акгустос», датчане и норвежцы — «акгуст», индийцы (на урду) — «агаст», испанцы, итальянцы и португальцы — «агосто», турки — «аугостос», шведы — «аугусти», на эсперанто — «аугосто».

А во Франции от этого имени сохранился лишь первый слог — «ау», напоминающий переключку грибников в августовском лесу. В дни Великой французской революции и в дни Парижской коммуны август был «месяцем жары» (примерно первые три недели) и «месяцем плодов» (перIOD с 21 августа).

По китайскому сезонному сельскохозяйственному календарю двухнедельный период до 7—8 августа — это «большая жара», до 23—24 ав-

густа — «начало осени», а после — «прекращение жары».

В Древней Руси август был шестым месяцем. «Серпень» — так тогда его величали славяне, потому что в эту пору жали хлеба серпами. В наши дни такое имя месяца сохранилось на Украине, в Сербии и в Польше, а в Чехословакии созвучное ему — «српен». В Белоруссии август называют «жнивнем» — по зажинку хлебов.

До 11 августа Солнце движется в созвездии Рака, а после — в созвездии Льва. Это период звездных дождей. В эту пору можно наблюдать великолепное зрелище «падающих звезд» — метеоритные потоки. Звездопад — одна из примет скорого прихода осени.

Согласно так называемому календарю «счастливых камней», августу соответствуют перидот и сардоникс. А по календарю «счастливых цветов» августу посвящаются гладиолус.

По календарю грибника весь август является лучшим временем заготовок белых грибов и валуев, груздей и лисичек, маслят и подберезовиков. По календарю ягодника в августе идет массовый сбор голубики и ежевики, земляники и кизила, костяники и брусники, облепихи и смородины, черники и черемухи, малины и шиповника...

ПРИМЕТЫ, ПОГОВОРКИ, ПРИСЛОВЬЯ...

Август — густарь, страды государь.

Август сыплет ягоды на болотах. В августе три заботы: и косить, и пахать, и сеять.

В августе лес спешит отдать свои дары.

На зимний стол август готовит разносол.

Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь.

Лето переломилось — позже занимается рассвет, раньше смеркается.

Утренняя заря краше вечерней. Месяц, народившись, омылся дождями, потом дождя не будет. А как месяц рогатым опять станет, да опять омоется — тогда грибы пойдут.

Если покрывающие все небо облака постепенно уплотняются, темнеют, то скоро наступит продолжительная плохая погода.

Ветер полосами, порывами — к тихой погоде.

Ненастье чаще бывает при восточном (южном) ветре.

Будет скоро сильный ветер, если высокие (перистые) облака вытягиваются узкой и длинной полосой.

Если далеко видно по горизонту — к ведру.

Золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта — к хорошей погоде.

Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

Сильное мерцание звезд на рассвете предвещает через два-три дня дождь.

Если туман быстро рассеивается в лучах солнца — хорошая погода устанавливается надолго.

Появление вечером тумана и растлание его по земле предвещает хорошую погоду.

Пошел дождичек утром — днем хорошая погода.

Хорошая погода сохранится, если ночью ясно.

Гало вокруг солнца или луны при перистой облачности — быть дождю.

Луна бледная, затуманенная — к дождю, ясная — к хорошей погоде. Ночная роса не высыхает — к грозе.

Позднее цветение рябины — к долгой и теплой осени.

Если листья на деревьях желтеют снизу — ранний сев будет хорош.

Коль пошел парной туман над лесом — иди по грибы.

Много мошек — готовь под грибы лукошек.

Цветы — дети солнца, грибы — дети тени.

Полетел пух с осины (слетают зрелые семена) — иди за подосиновиками.

У белого гриба часто рядом бледная поганка.

Муравьи спешно среди дня заделывают входы — будет дождь.

Будет хорошая погода, если пчелы улетают в поле с утра.

Комары толкнутся столбом — к ведру.

Кошка лижет тело, хвост, царапает стену — к ненастью, ложится на спину — к хорошей погоде.

Вода в реке пенится — через день дождь.

1 августа. Указчик осени.

Дождь с утра — не жди добра: будет осень вся мокра.

Коли мокро — и осень мокра, сухо — и осень суха, не плоха, а если дождь — уродится рожь.

Первое августа сряжает осень, а седьмое — зиму.

Оводы кусают последний день.

2 августа. Зажинают жниво, косьбе срок.

Спят на августовской перине — на первой соломе.

Август два часа уволок — от дня убавил, ночи прибавил.

До августа мужик купается, а в августе с речкой прощается.

До обеда — лето, после обеда — осень.

В августе зима с летом борются. Если дует холодный северо-восточный ветер — худой налив хлеба будет.

В июле тучи по ветру идут, с августа — против.

Если сухо, то шесть недель будет сухо, а если дождь, то идти ему шесть недель.

Если дождь, будет мало пожаров, картошка будет хорошей.

4 августа. Ягодница, попельница, сладостница.

Сильные росы — льны будут серы и косы.

Стелят льны по росной траве.

Славен русский лен, славно льняное полотно — тонкое, белое, прочное. Громоу день. Коли гроза — сена будет за глаза.

Если после дождя молния заблещет — будет ясно.

5 августа. Бессонники, пора усиленных работ, страды. Калинники, малинники. Горька калина, хоть меду — половина.

Зарницы багровеют.

6 августа. Праздник жатвы.

Почти повсеместно поспел хлеб.

7 августа. Холодница, август припасает утренники (заморозки).

Если утренник холодный, то и зима холодная.

Ночи белые замерзнут в утренней тьме — быть нынче лютотой зиме.

Какова погода до обеда, такова зима до декабря, какова погода после обеда — такова зима после декабря.

Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, если же идет дождь — зима снежная и теплая.

Муравьи увеличивают муравейники — жди холодной зимы.

9 августа. Кочанный день, вилки в кочаны завиваются.

На поле капустном — кочанов густо.

Капуста, как и картошка — главная пища слетья.

11 августа. Если туман, припасай закрома про овес и ячмень.

Плохой овес — наглотаешься слез.

Если спелый овес во второй раз зазеленеет — осень будет ненастной.

Зерно спелое вниз упадчиво.

Как нагрянет страда — и умирать-то некогда.

13 августа. Ели репу свежую, вяленную, пареную. Пекли пироги с репой, делали репный квас, варили кашу.

14 августа. Маковой, собирают мак.

Лошадей, как и весь скот, купают в последний раз.

Начинают шишковать кедры на Урале и в Сибири.

Поспевает малина, собирают черемуху и клюкву.

В августе всего в запасе: и дождь, и ведро, и серопогодьё.

В августе всему час — держи рукавички про запас.

Калинник — августовские зарницы, зори.

Отцветают розы, падают холодные росы.

Отлет первых ласточек и стрижей.

15 августа. Сеновал, сено уже в стогах.

Каков сеновал, таков и сентябрь. В поймах косят отаву — отросшую траву.

Роса теперь холодна.

16 августа. Вихревей. Вихри — к крутой зиме.

Каковы вихреви — таков октябрь.

Если ветер с вихрями — ожидай снежную зиму.

Завихрит со всех сторон — будет злючая зима, с толстым снегом на дома.

17 августа. Малинуха, малиновка, сбор малины — готовь плетенки.

Ясная малина — урожай на хлеб.

Если дождь, все сено сгниет.

18 августа. Убирают лук, а то репка не успеет высохнуть.

Лук семь недугов вылечит.

Лук да баня все правят.

В комнатах развешивают связки луковиц — чтобы воздух очищался.

Сырой лук едят с хлебом, солью, квасом, отчего бывают здоровы и имеют свежий цвет лица.

При падеже скота связки лука и чеснока вешали на шею лошадей и коров.

19 августа. Яблоки припас.

И нищий яблоко ест.

От одного порченого яблока целый воз загнивает.

Осенины — встречают осень, снимают плоды.

Сеют озими.

Рожь, посеянная при северном ветре, родит крепче и крупнее.

Как обмочило оглобли при посеве ржи, так ступай домой: нельзя сеять в дождь.

Август на огороды — смена погоды.

Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — мокрую, а ясный — суровую зиму.

20 августа. Если аисты готовятся к отлету, осень будет холодной.

21 августа. Ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету.

Каковы ветрогоны, таков январь. Обцелованы цветы инеем до черноты.

Ранние инеи в конце лета — к урожаю будущего года.

Заломила сирень жесткие листья, под мокрый плетень сердцами ложится.

Слушай омут: тихо — и осень тиха, и зима легла.

Смотрят в полдни на воду в реках и озерах: коли тиха, то осень будет тихая, а зима — без выюг и злых метелей.

Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха и дождик.

Зашумит река и закричит лягушка — будет дождь.

Если сильная жара или сильные дожди, то будет так долго — всю осень.

27 августа. Узорник, камнеклад, камнерез.

Средний срок начала листопада. Этот день с бабьим летом бурей-ветром переключается.

Коли дуют ветры-тиховои — к ведренной осени.

Тихий ветер в сад — сухая осень в лес.

День с бурей — к ненастному сентябрю.

Если журавли полетят, то к середине октября мороз, а нет — то зима позже придет.

28 августа. День проводов лета и окончания уборки урожая.

Молодое бабье лето начинается, а солнце засыпается.

Если молодое бабье лето сухое, ведренное, то жди ненастья в старое.

Ласточки отлетают в три раза. 29 августа. Хлебный день, дожинки.

Хлеб на стол, так и стол — престол, а как хлеба ни куска, то и стол — доска.

Ржаной хлеб — всему голова.

Калач приестся, а хлеб — никогда.

Матушка-рожь кормит всех сплошь, а пшеничка — по выбору.

31 августа. Конец августа — последняя летняя страда. Огурцы солят.

Начало осенним утренникам, случаются и заморозки.

Смотрели у полыни корни: если побеги корня толсты — следующий год будет урожайным.

В августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит.

В августе дуб желудями богат — к урожаю.

Гроза в августе — к долгой осени. Что июль с августом не сварит, того не зажарит и сентябрь.

Погода будет меняться к худшему, если воздух очень прозрачен.

Низкие тучи — к худой погоде.

Багрово-красная звезда — к дождю и ветру.

Если после ясного дня солнце село за тучу, жди ненастья.

Если при ясной погоде ветер дует с восточной стороны несколько дней, а к вечеру усиливается — приближается ненастье.

Если при восходе солнце медленно выплывает из-за облаков, будет хороший день.

Чем красивее облака и чем равномернее они расположены, тем хуже будет погода в ближайшие дни.

Утренняя заря скоро потухает — будет ветер.

Красная заря при восходе солнца — к дождю.

Красные облака до восхода солнца — к ветру, тучи — к дождю.

Если к 10—12 часам появляются кучевые облака, а к вечеру исчезают — хорошая погода сохранится.

Если паутина расстилается по растениям — к теплу и ясной осени.

Если пауки сокращают размер сеток-ловушек — быть ветреной погоде.

Пауки делают гнезда — к холоду. Полетела паутина — жди длительной солнечной погоды.

Куры, гуси, утки смазывают свои перья жиром, а цыплята не отходят от наседки — ожидается близкое и продолжительное ненастье.

Сова кричит — на холод.

Если должно наступить ухудшение погоды, пауки покидают паутину и прячутся в ближайшем укрытии.

Перед сухой погодой мухи просятся рано и начинают гудеть, перед дождем — сидят тихо и смиренно.

Домашняя птица рано начала менять перо — холода наступят рано.

Если листья березы начинают желтеть с верхушки — ждите ранней весны, снизу — поздней, а если равномерно — средней.

Много ягод рябины — осень будет дождливая, а зима суровая.

Если рябина изобилует красной ягодой, следующее лето будет дождливое.

Много ягод и орехов, а грибов мало — зима будет снежной и суровой.

Много желудей на дубе — к холодной зиме.

Много желудей на дубах, много орехов на лещине — к плодородию на будущий год.

Рано желтеют листья на деревьях — признак ранней прохладной осени.

Летние птицы улетают — с ними уходит и лето.

Хорошая устойчивая погода сохранится, если к середине дня и после полудня заметно усиливаются радиопомехи.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

«Хронометр» — окончание первой книги романа В. Крапивина «Острова и капитаны»;

рассказ Е. Айпина «Седой»;

стихи С. Марченко;

фантастический рассказ М. Татьянина «Он улетел...»;

«Клуб собирателей»; беседа о роке и роках «Музыка и мы».

Главный редактор С. Ф. МЕШАВКИН

Редколлегия: Е. Г. АНАНЬЕВ, В. П. АСТАФЬЕВ, М. ГАЛИ, Г. В. ИВАНОВ (зав. отделом прозы и поэзии), В. П. КРАПИВИН, Ю. М. КУРОЧКИН, Д. Я. ЛИВШИЦ (заместитель гл. редактора), Н. Г. НИКОНОВ, О. А. ПОСКРЕБЫШЕВ, А. К. СЕМЕРУН, К. В. СКВОРЦОВ, В. А. СТАРИКОВ (отв. секретарь), А. Н. СТРУГАЦКИЙ.

Редакция: В. И. Бугров (отдел фантастики), Л. С. Будрина (технический редактор), В. В. Бурангулова (корректор) Л. Г. Гончарова (секретарь-машинистка), А. Д. Кононова (отдел писем), Ю. В. Липатников (отдел науки и техники), Е. И. Пипаев (художественный редактор), Ю. В. Шинкаренко, Н. А. Широкова (отдел публицистики и следопытской жизни)

Адрес редакции: 620219, г. Свердловск, ГСП-353, ул. 8 Марта, 22-в
Телефоны отделов: 51-55-56 (писем, публицистики), 51-22-40 (секретариат), 51-09-71 (фантастики, прозы и поэзии), 51-53-20 (науки и техники, следопытской жизни), 51-09-69 (краеведения)

Сдано в набор 08.04.87. Подписано к печати 22.05.87. НС 15346. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Высокая печать. Усл. печ. л. 8,82. Усл. кр.-отт. 11,76. Уч.-изд. л. 11,6. Тираж 406 400. (2-й завод: 250 001—406 400). Заказ 470. Цена 40 коп.

Типография издательства «Уральский рабочий». Свердловск, пр. Ленина, 49.

МОСКВА — САН-ДЖАСИНТО



Ранним утром 14 июля 1937 года мальчишка, разносчик газет, пробежавший по западной окраине небольшого городка Сан-Джасинто в Калифорнии, был несказанно удивлен, увидев, как огромная стальная птица, вынырнувшая из-за ближних холмов, вдруг резко пошла вниз и через минуту приземлилась на лугу, перепугав пасшихся там коров.

Это был АНТ-25, самолет Страны Советов, завершивший свой 10148-километровый полет, длившийся 62 часа 17 минут.

Фамилии М. Громова, С. Данилова и А. Юмашева запестрели на страницах газет.

Экипаж был принят президентом США Франклином Рузвельтом.

В Рендлендэ, соседнем с Сан-Джасинто городке, есть клуб коллекционеров-нумизматов, а среди его членов живы два человека, находившиеся среди толпы в памятный день 14 июля

1937 года. Они-то и подали мысль отметить это событие и выпустить памятную медаль для членов клуба. Чтобы окупить расходы на изготовление ее, часть тиража решили пустить в продажу. Медаль появилась на свет. Она невелика, 38 мм в диаметре, отчеканена из трех металлов: 200 экземпляров из серебра, 200 — из оксидированной бронзы и 800 — из обычной бронзы. Всего 1200 экземпляров. Почти весь тираж разошелся мгновенно.

Рекорд дальности полета, установленный экипажем М. М. Громова 14 июля 1937 года, был превзойден только через 25 лет, когда американский майор Клайд Дж. Иверли перелетел на самолете из Окинавы в Мадрид, покрыв расстояние в 12 532 мили.

В апреле 1938 года Министерство связи СССР выпустило серию из трех почтовых марок, посвященных полету экипажа во главе с М. Громовым. Все три марки (достоинством в 10, 20 и 50 копеек) одного рисунка, но разные по цвету. Слева — портреты членов экипажа, а справа — схема маршрута перелета. Эти марки теперь являются редкостью.



И. Викторов

ИЗБУШКИ НА «КУРЬИХ НОЖКАХ»

Довелось мне учительствовать в сельской школе на берегу небольшого озера Домашнего. А для жилья была у меня большая изба, которая стояла в дальнем углу школьного городка.

После шумного города такая жизнь казалась тихим раем. Но безмятежность и тишина продолжались недолго. Как только ударили первые морозы и схватившийся на озере ледок запорошило снегом, в избу устремились мыши. Кошки не было, а меня они не очень-то боялись. Стоило чуть затихнуть в комнате, как они дружно выходили на работу. Через открытую дверь было хорошо видно, как мыши производили опустошающий налет на кухню. Одни сразу забегали на лавку, на стол, выискивая крошки, другие шарились по кулям на полке, третьи сгрызали бумагу, которой были заклеены окна.

Уже после трех дней нашей совместной жизни в доме гулял холодный ветер... И я подумал: какое же опустошение могут произвести мыши, если будут хозяйничать где-нибудь в амбаре?!

А потом узнал: северяне давно решили проблему борьбы с мышами. Они строят избушки на «курьих ножках» — лабазы (см. фото). Такие постройки можно встретить в любом хантыйском и мансийском поселке. Столбы, на которых стоят избушки, — не очень высокие, предохраняют только от мышей. В лесу же, возле охотничьих зимовий, их поднимают высоко — чтобы не смог разворочать сруб медведь. Охотники же забираются в лабаз по бревну с зарубками.

А. Пашук





ПРОЗА «СЛЕДОПЫТА»

В 1988 ГОДУ

4/2-10

В журнале будет опубликована вторая книга романа «Острова и капитаны» Владислава Крапивина — «Граната (Остров капитана Гая)». Действие происходит в 1967 году. Толик Нечаев, главный герой первой книги романа — «Хронометр», стал конструктором аппаратов для исследования морских глубин. На испытания одного такого аппарата он привозит с собой 12-летнего племянника Мишку Гаймуратова по прозвищу Гай. События разворачиваются на окраине Севастополя, среди развалин древнего Херсонеса...

«— А почему ваша победа?»

Все молчали, смотрели на гранату.

Граната висела на груди пулеметчика. Она была не старая, не ржавая — не то что пулемет. Лаково-черная лимонка с медной трубкой запала и блестящим проволочным кольцом. Она цеплялась рычажком за вырез ворота и сильно оттягивала майку.

— А почему ваша победа? — Пулеметчик — он был года на два младше Гая — вскочил на верхушки двух камней над амбразурой. Секунды три он смотрел сверху — на одинаково удивленных противников и союзников. Потом втянул сквозь сжатые зубы воздух и рванул у лимонки кольцо. И взметнул гранату над головой. Упала тишина, и Гай услышал в этой тишине звонкое шипенье. А потом — чей-то неразборчивый тонкий вскрик...»

Мы побываем на океанском четырехмачтовом барке «Крузенштерн», где снимается приключенческий фильм, и на улицах старой Артиллерийской слободки. Снова всплывет история рукописи Курганова о Крузенштерне, снова встанет перед героями романа вопрос о ценности человеческой жизни, о нелегкой готовности к самопожертвованию.

...На квартире у Димки собрались подростки, слушают магнитофон с иностранными записями — «балдеют», и вдруг в комнату врывается разъяренный сосед-таксист. Он пришел с работы и обнаружил, что у него исчезли японский магнитофон, вельветовые импортные штаны и набор фломастеров, и кинулся тут же к Димке: «Куда бежать, как не к тебе? Кому еще такая пакость — ключ подобрать, обворовать! — в голову взбредет, как не тебе, колонисту? Ну, ты у меня покрутишься, ворюга!». И Димка... сознается, даже называет сообщников, ребят моложе себя. Однако следователю Наталье Родинцевой удастся установить, что Димка никакого отношения к краже у таксиста не имеет. Почему же он оговорил себя?..

Так начинается повесть Елены Грушко «Вечер и дождь». Шаг за шагом расследует Родинцева клубок преступлений, находит в конце концов истинных виновников.

«Очарованный беглец» — так назвал свою повесть Роман Солнцев. Она — о научном работнике, ищущем свое настоящее призвание.

В следующем году исполняется 85 лет со дня рождения известного прогрессивного писателя Жоржа Сименона. Журнал опубликует его роман «Мегрэ и осведомитель». Это произведение написано живо, интересно, отличается острой социальной направленностью, глубоким психологизмом.

Подписка на «Уральский следопыт» принимается Союзпечатью повсеместно без ограничений. Наш индекс 73413. Подписная цена на год — 4 руб. 80 коп.



ПРОЗА «СЛЕДОПЫТА»

В 1988 ГОДУ

Цена 40 коп. Индекс 73413

Уральский СЛЕДОПЫТ, 1987, № 7, 1—351.